

ГРАНИ

GRANI

120

1981

Verlagsort: Frankfurt/Main, April-Juni

ОБРАЩЕНИЕ ИЗДАТЕЛЬСТВА «ПОСЕВ»

к литературной молодежи, к писателям
и поэтам, к деятелям культуры
— ко всей российской интеллигенции

Русское издательство «Посев», находящееся в настоящее время за рубежом, во Франкфурте-на-Майне, предоставляет вам возможность публиковать те ваши произведения, которые по условиям политической цензуры не могут быть изданы на Родине. Напечатаны эти произведения могут быть в журнале «Грани», в ежемесячнике «Посев» или изданы отдельными книгами. Будет сделана попытка их публикации и на иностранных языках.

Рукописи могут быть подписаны как фамилией автора, так и псевдонимом, который будет строго соблюдаться издательством.

Авторские гонорары в размере, соответствующем установленным в «Посеве» ставкам, будут храниться в издательстве до того времени, пока автор найдет возможным их получить.

Пересылать рукописи в издательство «Посев» можно как через своих граждан, едущих за границу, так и через иностранцев, посещающих СССР. Приехавший за границу может сдать пакет с рукописью на почту, а в случае необходимости — опустить в почтовый ящик и без марок. На пакете с рукописью необходимо указать следующий адрес:

**Possev-Verlag
Flurscheideweg 15,
D-6230 Frankfurt am Main 80**

Предоставляя пишущим страницы своих изданий, мы помогаем российской интеллигенции, а в особенности молодежи, выполнять возложенную на нее историей ответственную задачу — в свободном творчестве правдиво изображать жизнь и стремления нашего народа, воспроизводить его духовный облик.

За свободное Творчество! За свободную Россию!

Издательство «ПОСЕВ»



«Легко и радостно жить тому, кто ищет в других хорошее; ищет и находит. Исканием своим помогает он тем, в ком ищет, раскрыть и проявить светлые грани души. Но для этого он прежде всего в самом себе должен раскрыть их, должен стремиться к совершенствованию.

Каждый человек — часть органического целого; человечества. Совершенствуется часть — совершенствуется целое. Тот, кто становится на путь Правды, помогает всему человечеству стать на тот же путь. А необходимость этого, может быть, никогда так не была велика, никогда так не ощущалась всеми, как в наши дни.

В свете этого большая и ответственная задача стоит перед теми, кто служит Слову — Слову Правды».

Е. Романов. «Вместо программной статьи»,
«Грани» №1, июль, 1946.

Редактирует Редакционная Коллегия
Главный редактор Н.Б. Тарасова
Ответственный секретарь Д.А. Мусина

Адрес редакции журнала „Грани”:
Grani c/o Possev-Verlag, Flurscheidweg 15,
D 6230 Frankfurt/M. 80

Possev-Verlag, V. Gorachek KG, Frankfurt am Main

Г Р А Н И

ЖУРНАЛ ЛИТЕРАТУРЫ, ИСКУССТВА, НАУКИ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ

Год XXXV

№ 120

1981

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

Борис РОХЛИН — Танька. Рассказ	5
Виктор СОСНОРА — Семеро	31

ОЧЕРКИ СОВРЕМЕННОСТИ

Лев ТИМОФЕЕВ — Технология черного рынка, или крестьянское искусство голодать	41
---	----

ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ. ДОКУМЕНТЫ

Игорь Огурцов по его письмам к родным	161
---------------------------------------	-----

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Альберт ОПУЛЬСКИЙ — Проблема художест- венности русских житий и ее изучение	173
Татьяна ГОРИЧЕВА — „Ткань сердца расстелю Спасителю под ноги...”	198

ПУБЛИЦИСТИКА

Д. ШТУРМАН — В поисках упорядоченности	215
--	-----

БИБЛИОГРАФИЯ

Игорь Бурихин. „Три книги”	263
----------------------------	-----

Обложка работы художника Н. Мишаткина

© 1981 by Possev-Verlag
V. Gorachek K. G., Frankfurt am Main
Издательство «П о с е в»

Борис РОХЛИН

Танька

Рассказ

I

Над Дровяной улицей, что неподалеку от Калинкина моста, солнце всходило неохотно, с привычным для жителей этой местности опозданием; когда часы Петропавловского собора били двенадцать, стреляла в низкое дымное небо пушка и на углу Невского и Грибоедова был уже и полдень. Плоское светлое тело останавливалось ненадолго, освещая дневную редкую жизнь улочек с талым снегом, деревянной в сквере горкой, куда со второго этажа выглядывало Танькиных родителей и ее самой единственное окно; и при этом редком свете можно было видеть игроков в футбол, мужчин, распивающих купленный в полуподвальном магазинчике напротив красный портвейн, да пожилых женщин из соседних домов.

С четырех сторон, по числу частей света, был окружен скверик трехэтажными ровными домиками разной неяркой окраски, и много скромных,

Из рукописного ленинградского журнала „Часы” № 11, 1978. — Р е д.

нешустрых улочек подходило к скверу, и около него они прекращались.

В этом отдаленном углу большого города магазины закрывались в шесть часов вечера, на неширокой площади, уставленной памятниками и окруженной каналами с бокастыми мостиками, где ажурные решетки соседствовали с фонарями старинной конструкции и где в зябкое и слякотное по календарю время года нетрудно поскользнуться; на этой с малым количеством воздуха и пространства площади разыгрывались под нежную для слуха музыку длинные трогательные представления; застаивались в этом жилом углу города туманные влажные массы, были особые, построенные не так, как строят сейчас, и совсем с другой целью, не для жизни, а чтоб ходить туда, дома — назывались церкви, и на углу Дровяной и Прачечного переуллка имелся единственный в городе женский вытрезвитель.

Больше ничем не была знаменита эта сторона земного нашего пространства, разве что пивным ларьком на Мойке, но таких ларьков было немало по всему обширному городу и он не выделялся, так что и назвать его чем-то особенным просто нет оснований. Возможно, но утверждать достоверно я не берусь, поблизости и были вещи позначительнее, вроде портовых кранов, щедрых на дым и копоть труб или вода маслянистая и мало склонная к движенью по причине вечной своей задымленности и все той же маслянистости и богатости нефтью и другими пачкающими и вяжущими веществами. И если продолжать углубляться, брать шире и несколько слов по поводу современности, что не когда-то, мол, в прошлом, а сейчас действие происходит, то ведь поблизости и метро даже было, но это последнее обстоятельство не важное и мы его — насчет сегодняшних наших дней — оставим.

Ибо сказанное — подход лишь, места действия описание, подробности внешние, где люди живут, виды транспорта, да как насчет снабжения и не очень ли хулиганят. А главное-то дело, особенное, в герое, он все разрешить должен, чтоб больше не сомневаться, знание обязан последнее дать — из-за этого героя неведомого и пишутся слова, вяжутся, приставляет автор словечки, лепит, строит лесенку, и пусть до героя еще не близко, но в нем суть, в нем такое кроется, а что остальное? — Дым. Солнышко катится, скатилось за крышу, а из-под другой кровельки вошло. С героем не так, он повсюду, сразу, он на ночевку не отправляется каждый вечер, он... знаете, кто он? — Закон нравственный, может, мерить по нему поступок каждый придется, но это уже как выйдет.

II

Танькина мать Марья Штукина, приходившаяся дочкой Петру Штукину, умершему по пьяному делу под колесами пассажирского поезда Ленинград — Ростов-на-Дону при возвращении от Марьи к себе домой на станцию Глубокая, не доехав до нее каких-нибудь 200-300 км, была шофером второго класса и вот уже семь лет водила старенький грузовичок, точно не установленного образца. Нельзя сказать, чтобы эта смерть как-то особенно глубоко тронула сердце Марьи, ибо она, уйдя в 14 лет из дома, уехав в Ростов, работая в депо, в паровозных мастерских, бегая мужикам за водкой и огурцами на гривенник, познала всю широту и скудность жизни слишком рано, чтобы через 30 лет после этого еще пугаться смерти близких или своей собственной. Не поехав на похороны по денежной

вечной своей малости — такое дано было объяснение любопытным и настойчиво сочувствующим соседям, — а на самом деле по ей самой неясной причине, может, какой жестокости, в которой и самой себе признаться было страшно, а еще лгать не хотелось, чего-то выдумывать, знала — все они там чужие, отец — последний был, а теперь ничего у нее — Марьи, что и дома-то не была чуть ли не с рождения — какое у нее дело может там быть — она ведь сама по себе, без них, а они без нее управятся, уж похоронить-то смогут, это они там смогут.

Она просто напилась так, как ей до этого приходилось напиваться лишь с Веркой из овощного магазина, что сейчас работает в закусочной на Карла Маркса, да однажды с какими-то военными не то из Транспортной, не то из Медицинской академии, а скорее всего были это транзитные служивые люди, которые на три дня в Ленинград проездом из Ташкента в Мурманск или наоборот — точно она сказать не могла, но знала, что тогда это было, когда еще молодой — без мужа и дочки. А придя домой, Марья, матерясь и плача, выставила за дверь Таньку и Феодосия Артамоновича, уснувшего в кресле с газетой на коленях, купленной три дня тому назад у Анны Матвеевны в киоске, что напротив булочной, и почти до утра ходила по комнате, ругалась, плакала, придумала себе уборку и заботы, из буфета посуду тащила, расставляла, не бывало раньше с ней такого, чтоб до всего дело — такая она вдруг стала хозяйственная и заботливая до всякой вещи в доме, на занавесках складки расправила, постель перестелила, лампочку новую ввинтила, поярче которая, а потом, допив маленькую, принесенную с собой, она уснула, как была одетая, поперек кровати, и ей еще повезло, что она в ту ночь спала у себя дома, пусть и не в очень

удобной позе, потому что именно на углу Дровяной и Прачечного переулка находился единственный в городе женский вытрезвитель.

Марья Петровна вставала в пять утра, и в тягучей густой темноте она двигалась по комнате к выключателю, жгла свет, заполняя неширокое пространство нарочито светлой мутью. Танька, каждую ночь подстерегаемая этим болезненно ранним рассветом, вздрагивала, открывала глаза и, уткнувшись в стенку, голова под подушкой, сразу вновь засыпала. Феодосий Артамонович, вставая несколько раньше, готовил жене завтрак — яичницу из трех яиц с салом, присланным из деревни, ибо отношения старательно поддерживались с обеих сторон, где сама добросовестность, с какой выполнялись все пункты и правила, весь регламент добрососедства были свидетельством и доказательством взаимной неприязни, но по соображениям частным и житейским, а также по причине извечного права родства и крови, сознательно, а чаще почти всегда без умысла, без отметок в памяти, происходил постоянный обмен письмами, — что входило, хоть родственники и были Марьины, в обязанности Феодосия Артамоновича, — и собственностью; наливал в большую белую чашку черный густой чай, внутренне безучастный, но деятельный и оживленный снаружи, а когда Марья исчезала в пустынности коридора и лестничного пролета, когда за ней захлопывалась становившаяся громкой от ее нелегких рук дверь, он тихо вздыхал, думал о том, что вот теперь часа два до времени Танькиного вставания и приготовлений в школу он сможет поспать. Свет угасал, когда Марья еще не успевала выйти на улицу, где ее ждал автобус, где приветствия смешивались с всеохватывающей зевотой и где пахло талым мартовским снегом, недолгими ночными замо-

розками и привычно, устойчиво — от людей и кожаных сидений — соляжкой и бензином.

III

Феодосий Артамонович прожил в Могилеве-Подольске положенные ему годы, выпил местного производства положенное количество пива, учился в школе, которую не кончил, занявшись делами жизни и своими собственными. Мутная река, поспешно утекая в неизвестное место, в невидное дальнее пространство, по вечной своей торопливости не интересовалась жителями города, стоявшего на ее левом берегу, да и в Дондюшанском районе, где была уже ударная комсомольская стройка, не говоря уже о кислом вине, дешевой клубнике и местном цыганском племени, его не помнили, как и вообще никого особенно долго в душе не держали, разве что черную райкомовскую „Волгу”, да и то по необходимости и заученной привычке к почитанию.

Феодосий Артамонович тихо двигался по предначертанному ему пути, начавшемуся в ночное неловкое для добрых дел время восемнадцатого года, второго года новой эры, когда он был зачат путем изнасилования молоденькой голландки в товарном поезде дальнего следования тех позволявших многое веселых лет.

Будучи негромким человеком, работая банщиком, чистильщиком на проспекте Славы и площади Мира напротив кинотеатра „Уран”, торгуя американскими сигаретами „Честерфилд”, „Кемел” и голландскими сигаретами по два рубля пачка, уважая милицию и особенно ее главного представителя — квартального Петю Эйфудзяна — изящного

блондина с голубоватыми овалами под глазами, он любил дешевые портвейны, женщин любил, не то чтобы совсем уж так любил, но не пренебрегал этим, время от времени лечился; всякий раз очень удивляясь этому, обижался, но был отходчив и быстро все забывал — тридцать семь лет так прожил, — потихоньку, — в дождь не выходил из дома, в вечернее время купался в мимо бежавшей воде, тяготился верностью и никогда не курил.

Каждую весну вместе с цыганами с молдавского берега Днестра, бросив тазики, ваксу и частную продажу пива по полтиннику бутылка, он уходил зарабатывать деньги, воровать понемногу, ночами слушать, завалившись на спину и уставившись в богатое звездами небо, ленивые песни, жить как попало, не то зарабатывая, не то пропивая, — и так до глубокой осени, а там, еще не добравшись и до Харькова, все спустить, чтобы, как обычно, до весны напротив кинотеатра „Уран” доводить до лилового блеска, худея и грустя, английские мужские полуботинки да разную женскую тонкой работы обувь.

Так текли хмурые месяцы с мокрым снегом, ненастные, с оборванной мокрой листвой вечера:

„Сигареты „Кемел”, не хотите?”

„Пара пачка”.

„Просить не будем”.

„Да, вот три, ваших пять”.

Запах ваксы, шнурки и подбивка подков и однажды — оказалась Марья, проездом, — смущенная голландско-цыганским происхождением — и враз — ни портвейна, ни женщин — Васильевский остров, однобокое плоское солнце над городом, пушка в двенадцать, жена и законная дочка Таня. О ней и рассказ.

Мальчиков любила Танька, танцы в клубе моряков, где была высокая классность мужского состава, утренние сеансы в кинотеатре „Пирамида” и каток в парке Урицкого, где случались знакомства, приятные своей непродолжительностью, где продавали горячие по пять копеек штука пончики, что посыпались сахарной пудрой, долго жевались и вызывали изжогу, где так увлекательно играла музыка и катались на коньках.

Еще любила Танька отца и брала у него деньги, боялась матери, да, бывало, плакала по мелким школьным, а потом, начиная с тринадцати, все чаще по личным своим обидам, и от этих слез Феодосий Артамонович терялся, нелепо кружил по комнате, натываясь на вещи, бежал к своему портняжному столу, к своим мелкам и ножницам, роняя, — обычно такой аккуратный, — раскроенный, готовый превратиться в костюм материал, и, забыв подобрать, видя, что ничего не получается, возвращался к Таньке, — ревушей, в слезах, — неловко пытался гладить ее волосы и плечи и вдруг, как бы вспомнив что-то важное, семеня к вешалке и — сияющий, торжественный — краснея, совал Таньке в кармашек ее школьного передника трешку. Марья слез не уважала, и при ней Танька запиралась в ванне и там, пустив воду, тяжело вздыхала, мазала по лицу слезы, не забывая о зеркале и что от слез течет краска и теряется красота.

В вечернее время середины марта познакомилась она с Витькой из Грозного, широкоплечим человеком, ходившим на танцы, и не то чтобы в нем такое что-то особенное было, хоть, впрочем, все это мужское, доблесть такая, что полу этому свойственна, проявлялась сильно и заметна была длительность

его курсантства, что-то такое военное, неторопливое, верил он себе очень, так верил, что и Танька поверила, вдруг показалось ей так сильно, почудилось невероятное или почему — непонятно — внутри — вздрогнула разом вся, остановилась и шагу не ступить, отойти в сторонку, сказать себе насчет другого чего. И все дамские танго его да его, никого больше, чтоб только заметил ее, какая она.

А он и заметил, почему нет.

Была мутная погода со снегом, когда все текло, ни от чего не было покоя и радости и оставалось только что влюбиться в хорошо выбритого мужчину, такого своим военным превосходством красивого. Может, он-то и нужен ей был, всегда нужен и кого искала она — вот теперь нашла и думала, как так вдруг — и нашла. Ведь еще когда собиралась — ничего не было, как обычно, не думая, для танцев, — и то ли по спешке какой, а может, погода виновата была во всем или заждалась Танька, но только на скверной набережной реки Карповки, где в то время еще не было никакой каменной кладки, никаких гранитно-розовых стен, даже и машин, и свай, и строительного-то еще ничегошеньки не было, никакого даже предчувствия обновления и новшеств каких, совсем на спуске к воде, где подгнившие доски, сырой песок и камень и где в дневное летнее время металлической сеткой ловят разных совсем маленьких рыбок-сеголеток, на этой без изобилия фонарей — несветлой по ночам речной улице — набережной напротив неизвестного недлинного дома, где все уже спали, положено было начало долгой ее любви.

Свет от проходивших по верху машин, неслышно минуя их головы, падал в воду и там в ночной темной воде гас, а уж красный огонь правого габ-

рита, зажигавшийся, когда машина сворачивала на Кировский проспект, чтобы через Крестовский мост, а еще раньше миновав мост через реку Карповку, попасть на острова, оставив на этом берегу с обеих сторон набережную адмирала Лазарева, — видеть эту от позднего часа суток особенно красную мигалку возможности уж никакой не было у них, — и каждую машину они, неизвестно почему так вот, умственно, по памяти своей — сопровождали на все ее пути до тех пор, пока она не терялась в неурядице островных парков и гребных клубов. Совсем рядом, чуть выше, временами подпрыгивали, набегали голоса поздних прохожих, смех, шептанье, невнятная возня пар, и тогда они затихали, приоткрыв рот, ожидая, когда эти там наверху пройдут, угомонятся. Было слышно отчетливо до замирания, до страха, что увидят, — такой вид — не для показа, — подвыпившие танцоры, расходившиеся с танцев в одиночку и группами. И странно было, что все такое происходило так близко от других людей, почти на уровне их трущих землю ступней. От реки несло сыростью и снегом, на берегу вдоль плещущей, булькающей воды еще сохранялась синеватая днем, а теперь совсем белая кромка льда, которой касались их ноги. И несмотря на все страхи и внутренние недоумения, было уже ясно, что только так это могло случиться, и, возможно, даже не столько от великого желания, ибо смысл их сближения, пожалуй, вовсе, или это, конечно, слишком, но во всяком случае не только в той извечной и нужной работе, которую они сейчас вот старательно проделывали, а в чем-то неизвестном им, и не в той легкости и тишине, наступающей позднее, да она, правду говоря, и не была полной — эта тишина и усталость, тут главное, наверно, было в их волнении, происходившем от того, что

нашли они как-то друг друга, неизвестно, надолго ли, но сейчас оба были одинаковы, и им одновременно стало весело, напало какое-то школьное чувство, будто над кем-то удалось подшутить, обвести вокруг, самого себя вокруг их всех. Надувательство — вот важное было, что надуть удалось, и на часок-другой счастья себе отхватить.

V

Витя, как и полагается военному человеку, жил на Скобелевском, где снимал комнату, в которой не было ни телевизора, ни серванта, на стене висели боксерские перчатки и женщины были приходящие.

Город был большой, в городе было много людей, а площади были такие обширные, что два человека в разных концах находясь, конечно, могли увидеть друг друга, но и разговора никакого не могло быть, чтобы каждый мог отношение к нему другого определить, потому, что только силуэт был, мужчина, женщина — это еще разобраться можно было, а вот лицо увидеть, узнать, мол, как ты ко мне, отношение выяснить бессловесным образом, уж это нет, никакой возможности — такие обширные площади, в улицах же было много пространства, и в часы, когда небо от приближения к земле, к земной плоскости, поверхности, на которой дома и люди, небо от этой близости темнело, то в городском всем пространстве, заполненном в дневное время воздухом и энергией солнца, зажигались фонари, и в это время городской общей и личной жизни каждого, когда первая уже останавливалась, а вторая вот тут и начинала проявлять себя, тогда-то и встречались они в центральных, особенно освещаемых и богатых количеством лю-

дей частях города, где Таня, приехав с окраинного места городской жизни, нелепо счастливая, неосмысленная, не сама по себе, оказавшаяся рядом с Витей, как водится, в кино. Но казалось ей иное, новое, невозможное, будто впервые увидела, кинозал, экран, кадр — смена, люди — целуются и стреляют, заново все — сама, самое единственное, ничего раньше — кафе, вино, от которых жажда сладости, зеленые яблоки — под музыку за пятачок — забвение вчерашней всей жизни. Не было словно, не было, не было прежде Таньки, никакого рассуждения — впервые, невиданное, не переживала — и вся Таня, вся тут, без разбору.

Витя курил „Беломор”, смотрел на посторонних женщин, да время от времени с непосредственностью здорового человека поглаживал Танькино бедро,пил коньяк.

Когда-то Витя учился в Ташкенте в летном училище и предпочитал ночные прыжки, потому что платили чуть ли не вдвое больше, тогда была такая удивительная для него жара, что казалось, будто слово „замерзнуть” или слово „утопиться” определяют эту степень пота, солнца и скрипящего на зубах песка гораздо точнее, чем выражения, к которым обычно прибегают в таких случаях. Палатки плыли от зноя, и частенько они занимались тем, что трое суток тащились по пустыне, каждый сам по себе, с полной выкладкой, такая игра — кто дойдет, кто быстрее, а кого подбирать придется и тому минус — и все это с суточным запасом воды и совсем немного сухого пайка, ибо начальством и вышестоящими людьми, далеко от них отстоявшими, учитывались разные ситуации и возможности, и жизнь их старательно приближалась к обстоятельствам и условиям боя и настоящего военного положения.

Командиром их части был майор Комкин, тот

самый майор, который однажды, испугавшись стрелки-змеи сантиметров двенадцать, а может, и меньше длиной, которая прежде чем насмерть прокусить человеку кожу, подпрыгивает, как велосипед при быстрой езде по неровной дороге, если у тебя слишком сильно накачаны трубки, подпрыгивает на высоту около метра, пролетая в воздухе приблизительно такое же пространство уже по горизонтали, и которую он поймал голыми руками по тогдашнему своему увлечению змеями и разной естественностью и принес в палатку, куда чуть ли не вся часть сбежалась посмотреть, и сам майор, тот самый, который первым бежал из Витиной палатки, оставив своего десятилетнего сына; правда, тогда все убежали, толкаясь, пихая друг друга, скорей к выходу — отличные ребята — асы — ничего не боялись — бежали, когда стрелка, рассердившись, выпрыгнула из банки, — и остался мальчишка да он, около часа потом по всей палатке ловивший эту проклятую тварь. Тогда получил он выговор от Комкина, и осталось в нем надолго неуважение к начальству и недоверие к майорам, а вскоре он уехал, все бросил, хотя от него все отошли, отвернулись — честь офицерская, — а он на своем настоял и уехал.

Он гладил Танькино бедро, пил коньяк, посторонние женщины занимали его, но он не думал о них, как не думает бегун о том, пусть его жизнь на эти полторы тысячи метров связана и определена временем, не думает, который теперь час. Впрочем, все было обычное, как бывало раньше, похожее и очень неплохо.

VI

И не то чтобы у Таньки уж совсем раньше никогда такого не было — было, было же, многое и

даже, наверное, все было, такое. Как существо вне-социальное, к общественным порицаниям и благодарностям, что торжественно выносятся на общих, где все обязаны присутствовать, собраниях, где под аплодисменты на сцену выходишь под бюст Владимира Ильича, красное повсюду и все улыбаются, не то что равнодушное, а скорее боязливое, — пугало ее это, и так — главное — неловко было, даже когда в последнем ряду зала с краешку сидела, и тогда неловко, не по себе, такое чувство, будто нехорошее что делаешь сама, а еще неловче от того, что взрослые-то, взрослые-то то же самое, будто так и надо, нехорошо ей было, а отчего — сама не знала, может, они и правы были, улыбаясь, поощряя, а все-таки было чувство, что допустили они — эти люди — такое, от чего им самим не здорово, допустили, думая: „ничего, мы-то сами по себе”, а оказалось, что они, допустив, сами такие стали, пообвыкли, а самое верное — просто Таньке в таких, хоть и просторных, залах душно было, веселиться ей хотелось, вот все и придумывалось само по себе, складываться начинало такое ощущение — неправда, и на глаза слезы, а уж точным быть до конца, так чего ее слушать — и училась-то она плохо, от этого все, наверно, — а может, по другим каким причинам, по отцовским склонностям да материным привычкам, но не была Танька бумажным человеком, не знала она таблиц умножения, удельного веса тел и разных правил вычитания и сложения; ей не то что трудно было, скорее надуманным каким-то казалось, таким, что и знать-то это стыдно было, да еще умный вид при этом, серьезность, будто и в самом деле что-то важное, и стоит гордиться или хоть мысли одной стоит — вот я, возвышенное что-нибудь такое подумать о себе или еще лучше, если бы по поводу других, о всех

вместе это могло впечатление создать, так, чтоб сразу все в одном, всем приятно, а не то, что один отличник, другой ленивый, третий еще похуже того — и получалось, будто все вместе, а на деле противное состояние и такая неискренность — не принимала этого Танька, все, что в ней было, было раз и навсегда, и вся она была целиком сделана, выдуманна заранее, и никакой возможности в нее вложить реки и куда впадают и разных писателей, Пушкин там, „Поднятая целина” — все знала Танька, и свое собственное было у нее понимание жизни, и какая она, и как в ней живет.

А по поводу бюста если, то ведь не один — Владимира Ильича-то — был, два их было поначалу и долго, а после непонятное началось, второй-то жив был, и его бюст так стоял, потому что не мог он сам сразу во всех школах быть, вот его и размножили, ну и уважением этот бюст окружен был, даже последние хулиганы, даже Зяма, которого однажды сам завуч из-под лестницы вытащил, когда он там маленькую распивал вместе с Димкой Фомушкиным — и тот почтение имел, что Таньку очень удивляло, ибо Зяма, например, того же Сашку Беленького бил сильно и не жалел, а Сашка-то, в общем, хоть и не нравился ей, тихий он был и некрупный, но все же и кровь у него из носа текла и плакать он мог, ну живой, в общем, а тут на каком-то ящике в красном кумаче бюст, и вот пожалуйста — даже в директрисе трепет был замечен, а дальше уж совсем непонятное пошло, вдруг стало все можно — этот человек умер, не стало его, все было вначале как полагается — не учились, плакали, — а вот после странное пошло: разрешено все вдруг было, нос у бюста отколотили; Танька думала, что вот теперь Зяму и Шороха точно из школы выгонят, да нет — только через время какое-то и уши бюсту отколо-

тили — тогда директриса приказала убрать бюст тот, что с отбитыми частями, в кладовую школьную, и один только оставить, тот, что Ленин. Противно это было, противнее алгебры и геометрии, потому что — а если б этот человек живой был, так ему, наверно, и живому такое сделали, та же директриса, то плакала все, а теперь, — ведь из-за него день целый не учились. Может, он и плохой, так зачем плакали, Танька, например, не плакала. Один день из-за него хороший был, пусть только один, но был же, когда в школу не надо было.

Уж эта школа, когда рано встаешь, чтобы заспанной и плохо умытой, чтобы еще растрепанной слушать страшно важные дальние вещи и очень бояться — вот сейчас тебя к доске, и это, наверно, еще хуже, чем когда в большом зале у колонны стоишь и с эстрады объявляет тощий в очках танец: заиграли уже, а тебя — и стоишь и думаешь, неужели нет, а они идут мимо, выбирают — как неловко — может, и танцевать сейчас не хочешь и ведь знаешь, не пойдешь, откажешь, мол, устала, а все ждешь, неужели нет, не пригласят, и как-то за них странно стыдно, опять не то что-то, совсем не то, опять — такое же чувство, когда за партой, колонка у окна, самая дальняя, и сердце обморочно опускается, а потом вверх — не вызвали, не ее — Светку Павлову, а как приятно бывает — ни одного танца не пропускаешь, все тебя и тебя, красивая потому что, нравишься.

VII

Жила Танька в ожидании, как живет всякий человек, и лишь некоторые исключаются из этого правила, но они, наверно, не относятся к роду земному, а с других нам неизвестных планет; ничего не

боялась, но все искала, не хватало чего-то ей — вот и ходила она в цирк, вначале, правда, потому, что мороженое там вкусное, вкуснее, чем в „ТЮЗ”е на Моховой, когда с классом была, а позднее, сама не зная из-за чего, ходила смотреть, как на проволоке или под куполом красивые люди делали непонятные ей вещи — как таблица умножения или закон физический, — зачем, для чего — непонятно. Не видела она радости, когда человек гирию поднимал или трех женщин сразу, для нее было это как бюст, когда есть совсем обычные, ничего не понимающие люди — были они ей интереснее. Над клоунами смеялась, но потом было грустно и себя она после не любила.

Убегала Танька от неприятностей жизни, от матери в ванне запиралась, от дотошных учителей, которые в конце концов были просто недалекие, несчастные люди, и знала Танька, а вернее они знали, наверно, что вот она знает их эту тайну — и от них убегала, чтоб не ставили плохих отметок, чтоб не слушать и потому еще, что скучно и непонятно и куда веселее с Сережкой Ширяковым — школьным футболистом — в кино, потом на острова целоваться, а после в большую перемену в школьной уборной девочкам показывать — Сережка мужчина — у нас любовь.

VIII

Начало отношений любовных, или лишь так названных, отличается от середины, когда они — эти отношения — достигают среднего зрелого возраста своей жизни, когда происходит распределение обязанностей, более точное, а вернее уже окончательное, не то что в начале, когда оба пребывают в прекрасном равенстве, не думая о рангах, даже и

в голове не держа, что такие могут быть, не определяя, чем каждый должен здесь заниматься, что делать, какую нести ответственность и кому кто обязан и должен подчиняться. Сближение слишком неожиданно и быстро, и трудно повнимательнее рассмотреть другого, понимание и оценку произвести, трудно это так, сразу, и поэтому приходится заниматься этим потом, примериваться; замурив глаза, вопросами и вопросиками задаваться и на все, что еще вчера было ясным, было достоверным, наводить сомнение и вопросительность. Гадаешь о своем положении, подразумеваешь удачу и себя в этой удаче, но уверенность твоя и внешнее твое победное существование и все проявления, что кажутся соседям и родственникам счастливым знаменем или наглой распущенностью, оказываются недоразумением, скорого разъяснения которого боишься, не хочешь и о неотвратимом наступлении его — этого разъяснения происшедшей ошибки — носишь в себе догадку и полную уверенность. Когда уже будто вся возможная ясность существует, вот именно тогда и начинаются терзания и душевные хлопоты. Что за позиция такая у тебя, кто ты по отношению к другому, неизвестному тебе лицу, откуда эта безымянность, этот икс, эта неизвестность, и она — эта неизвестность — это состояние человека на качелях, когда внутри вверх — вниз, вверх — вниз, как во сне вверх — вниз, как очень пьяный человек под утро прилег и встал бы и понимает, что ошибку совершил, что худо, но нет — падает, падает, летит кувырком. Так вопросительна твоя жизнь с предчувствием беды, когда про себя уже знаешь: не то что ты сам, сознательно, умом знаешь, хоть и он не в сторонке стоит, а скорее нервами, волокнами, наплывами крови, приливающими к сердцу, может, потом, что кажет-

ся, будто и плащ твой весь взмок и платок на голове, — знаешь, что беда произошла, даже догадываешься, что ничего и не было, кроме беды, живешь по инерции, звонишь, плохо выглядишь, и не надо бы такой ездить, пересидеть надо, а там, глядишь, что-нибудь новое подыщешь, но нет — каждый вечер одно: срываешься — и через весь город. Ведешь счет остановкам, окружающих так ненавидишь, что хоть в одежде они, да будь все раздеты, пусть со смехом на лице, пусть в кармане газета, пусть глаза пьяные, пусть заплакался весь человек — все одно — ненавидишь, а вдруг они-то счастливые, да так оно и есть, а как же иначе, — счастливые.

IX

В третью субботу марта она приехала к Витьке, была какой-то по своему настроению веселой и ласковой, без скованности и напряжения, будто уже заранее знала. Она позвонила три раза, но за дверью так и не возникли знакомые шаги, и она не открылась. А всем и каждому и даже любому очень наивному человеку ясно, что если ты в субботний вечер, пусть даже без предварительной договоренности, приехал и никого не застал, то это — и здесь неважно, чем он занимается: пьянством, или пошел в кино с подругой твоей двоюродной сестры, или с ее племянницей, приехавшей из города Нестерова, или на танцы одиноким и гордым человеком, или даже он в гостях у своего дяди — адмирала флота в отставке, в его восьмидесятиметровой квартире, одну половину которой занимает коллекция гашеных и негашеных марок, а другую — его жена, у которой он пятый по счету, уже ничто не имеет значения и не служит оправданием, ибо даже последнему про-

стаку и идиоту ясно, что это конец, по той простой причине, что суббота предназначена для любви, чтобы любить друг друга, пребывая вместе до самого ночного начала понедельника и следующей недели.

Спускаясь по лестнице, она слышала, как наверху стукнула дверь, неопределенные, но громкие голоса повисли в пролете лестницы, за побеленной стеной включили телевизор, на площадке третьего этажа, прислоненные к стене, стояли лыжи и санки, отчетливые, через окна на лестницу, пробирались наружные уличные звуки. Она прошла все пять положенных этажей. Никакой не было в ней внутренней жизни, и теперь получалось неестественное, неправильное дело, что не она из себя, из внутри спрятанной радости всему внешнему жизнь давала, а наружное, шум всякий и что зрением ухватывалось — это вдруг главным стало, и все эти органы осязания и обоняния так обострились, что и перил шероховатая поверхность заметна была ей, руке ее правой, точнее, ладони и особенно большому пальцу на сгибе, и дым от сжигаемых листьев, что с прошлого года, и все это весеннее, что в воздухе билось и не имело названия, а сюда ехала — вся внутри, и не заметила, что апрель, может, декабрь, — своя жизнь была.

Медленно двигалась она по улице, неровно, словно мозжечка лишилась, не шла будто, кувыркалась, перекатывалась, ни рук, ни ног, казалось. Было одно переживание, скорее ощущение даже, тоже не очень точно, чувство огромное по размерам своим, но расколотое, на мелкие кусочки, маленькие — и они-то в тело впились изнутри и боль причиняли; разумно Таня объяснить все пыталась, привязанность свою, невероятную для нее, растолковать, а осколки совсем в тело вросли, кровь их

залила, затянуло их живой тканью, и боль как бы по всему телу распространилась, до самой периферии добралась, а внутри у нее — словно пустая, полая она стала, неизвестной физической природы тело возникло и заполнило все пространство ее жизни, все до последней видимой точки, плотное, тяжелое, страшное, вытеснило Таньку саму оно, чувства ее разные, незначительные, но ее ведь мысли. Такое это было жуткое дело и так тяжело и больно было, что не мог долго ни один живой человек такое выдержать.

Внешне она сохранила сходство с Танькой вчерашней, той Танькой, которая с Витькой, которая не знает приличий, о которой разное говорят, но уже наступало новое, приходило из неизвестности, и была другая девочка, сломанная, на кусочки вся разбитая, но шла еще, и брезжило что-то, казалось ей, издали, невнятное такое, насчет себя, и выражалось это приблизительно в таких словах, складывалось от боли, наверно, в новую мысль, прозрение, что вот все искала она, а то, что искала, есть у нее, ее от рождения, ей принадлежит, и это не то чтобы она сама, ее плоть там, и как себя проявляет, хотя и это тоже, то есть и она сама — это важно очень, и себя она искала, когда она издавна, испокон, из века есть, но главное, — и поняла она вдруг, — что окружало ее близкое, что отринуть стремилась, мол, ошибка, себя для лучшего приберегала, последнего, для чего, по ее мнению, предназначена была.

Потянуло Таньку в прошлое: и как она с отцом ходила, и какой он был, и поняла главное вдруг она. Может, отца она любила, — а ей казалось, жалеет лишь, — с которым в „Зоосад”, где-нибудь в марте, когда и мороженое-то еще не продают, да и звери все попрятались, пошлепают они вдвоем вот

так по лужам, замерзнут, а после в закусочной напротив горячие сосиски с кофе, еще маленькой, а она вдруг чужого человека к себе допустила, в самое нутро забраться дозволила, чтоб там поселился.

Она помнит — это было еще в то время, когда они жили на Васильевском острове, и Марья часто уезжала, оставляя их на попечение друг друга, это было задолго до того, как Феодосий Артамонович стал портным, до того несчастного случая, после которого он уже не мог работать стрелочником на железной дороге, в то время, когда у них в буфете еще лежали три серебряных ложки и стояло семь рюмок из розового стекла на тоненьких ножках, давнее то время, еще до Сашки и Кольки, еще до Сережки Ширякова и уроков алгебры и географии, еще до утренних вставаний в школу, до разных пришедших позднее жизненных неурядиц и недоразумений, в то давнее, давнишнее время, отошедшее, прожитое, когда вместе с отцом смотреть баскетбол ходила в спортивный зал Академии Можайского, где от дыхания висит над головами и мечущимся по площадке мячом, над аккуратными военновоздушными полковниками туманное сырое облако, и сквозь него нечетко — подрагивающие огни люминесцентных ламп. Приходили за два часа до начала, занимали места у сачка в глубине зала, у самой кромки площадки, чтобы еще до свистка судьи из Потти Аристо Шонии потеть — от духоты и набирающего силу азарта — животом, а потом во всю первую половину игры, испуганно поглядывая на табло, где указаны набранные каждой командой очки, глотать слюни и кричать: „Партизан, работаешь втихую” и сразу: „Сзади, смотри сзади, дурак”.

Простояв на остановке положенное количество

времени, Танька дождалась трамвая, и на задней площадке второго вагона, приткнувшись лицом к стеклу двадцать третьего номера привычного городского маршрута, думала, припоминая, как отец вечно ее — даже маленькой — стеснялся и недоумевал перед ней, взрослеющей, — будто думал, вот умница, откуда такая девочка, он сам при чем тут; такой когда-то пивший веселый человек чувствовал виноватым себя, давал трешки, будто брал их, будто зависел, провинился в чем, а она — и любила, да внутри все, про себя, близко не подпускала, а теперь так далеко от него ушла, что и не вернуться, поздно.

Стало действительно поздно, ибо стемнело, часов восемь, и зажглись над улицей плошки фонарные, чтоб мартовскую захудалую темноту просветляли. Внутри неизвестной физической природы тело заняло все пространство, не оставив для жизни никаких просветов, и совсем вдавливаясь в стекло, боясь взглянуть на людей, ее окружавших, будто украла, провинилась в чем низком и самой стыдно, и если узнают, то плевать начнут или того хуже, вдруг выйдут все из вагона, все выйдут, узнав, и одна тогда с этим внутри, которое просто мысль, чувство — унизилась, себя сама всю выставила, как на сцене или во сне.

Х

Дома спряталась Танька от всех домашних, заперлась и, на краешек ванны присев, маленькую из горлышка — она ведь Марьина была дочка — стала пить, начала, хлебнула разок и вылила в раковину, — Марьина, да еще сама по себе тоже — и плакать, о зеркале забыв, о красоте думать — плакать. Может, и вправду дурная она, может, и вправду все

верно говорили, она во всем неправая, может, и непорядочная, может, она такая и так ей и надо. Так точно, или примерно, думалось Таньке, но долго не могла она быть ими, под их властью и мнением ходить, просто слабость на недолгое время, что быстро проходит. Знала Танька, порядочная только потому, что в двадцать замуж и по случайности какой, может, даже девушкой, а после, в тридцать пять, когда сыну одиннадцать, разгуляется, все понесет, ничего не жалко — и хороший муж, да что в нем — одно уважение и чувствуешь — прошло, упустила — или сама не знаешь, почему — начинается тогда и не остановиться, а раньше, что прежде только потому, что дура, самой теперь смешно, все позволяла, через два года после замужества, только не это — порядочность-то вся от дурости — заразиться боялась, а теперь, когда то ли под тридцать, а скорее под сорок, и понесло, понесло — никакого удержку — знала Танька, и хоть не искала себе оправдания и догадывалась, что и легче от этого не станет, а все ж, наверно, без преднамеренности какой, но в утешение себе думала это под слезы и всхлипывания.

XI

А уж последние часы вечера окончились у Таньки, как и полагалось им. Привела она себя наскоро в порядок и от какой-то злости или отчаяния, или с последней какой радости, отправилась в Ленсовета на Кировском Петроградской стороны, чтоб там, между белых алебастровых колонн, в руках танцора с прозрачным плоским лицом и легким телом, — по всему огромному светлому пространству, среди таких же несущественных ликующих пар.

И идешь под музыку, под гитарный звон, саксофонист будто птичью стаю из своего инструмента выпускает, выпустит, подождет и вновь — как воробы, спугнутые доберман-пинчером, звуки. Изгибаясь, на полусогнутых, затылком к затылку, какая к черту прическа, идешь так, что уже и не идешь, а летишь, совсем изогнувшись и как бы навыворот, что и не ты это уже, а другое, что и представить сама не можешь, чтобы ты, да такое, да так вот, забывшись, в запахах духов, для волос лака, недопитой водки, только что у зеркала в уборной красоту наводила, а теперь в самозабвении — и какая разница — Витька, Колька, Саша — все одно — собачья радость и начисто, что недавно только вся другому, несуществующая через весь город, чтоб взглянуть. Ничего не надо, дура, дура — сколько гривенников потратила — забыла.

ХII

В утро следующего дня солнце у Калинкина моста взошло, как ему и полагалось, около семи. Это был обычный шар цвета неспелой дыни. Он немного побыл в неподвижности, довольно высоко над домом, где жила Танька, а потом скатился в улицу Дровяную, распространил по всей улице светлую раннюю прохладу, на тоненьких ножках через окно вошел в Танькину комнату и прогнал темноту последнего ночного часа. Марья, встав как обычно, хоть и было воскресенье, выпила холодный кофе, выкурила папиросу и как-то очень непохоже и тихо ушла, не закрыв за собой дверь. Феодосий Артамонович так и не проснулся, что случилось с ним впервые за все годы супружеской жизни. А у Таньки школа закрылась, как и полагалось ей закрываться

на воскресенье и на весенние недолгие каникулы, что ведут свой счет от зоологического пионерского „Дня птиц” и длятся до следующего календарного месяца апреля, когда точно уже знаешь, что санки и лыжи надо прятать в укромное темное место и вытаскивать велосипед, а если ты уж очень торопишься, то и сачок для бабочек. Феодосий Артамонович спал, подложив ладошку правой руки под щеку, а левую, вытянув, забросил за лысую свою голову, он похрапывал, прикусив белыми мелкими зубами краешек простыни.

В углу у двери спала Танька, забывшая распустить волосы, с тяжелым узлом на затылке, уткнув свое распухшее от пролитых во сне слез лицо в наманикюренный кулачок. Ей снилось, что она идет по пояс в холодной быстрой воде, — намокшее платье прилипло к телу, — вдоль крутого, поросшего кустарником берега, потом по тропинке через лес к дальнему просвету, за которым начинались Змеиные горы.

Что в этом сне крылось, мы не знаем, может, мудрость какая, может, так, без умысла, приснился, был ли это тот, нужный сон или случайный — Таньке виднее.

Март 1968 г.

Семеро

Пролог

Серый дом, серый дождь, серый день.
Ходят там в доме том семь сердец.

И такой он живой, неживой.
Все в нем есть, но и нет ничего.

Глава первая

В этом доме какой-то там век
жил все время один человек.

Он родился и жителем стал
за сто лет до рожденья Христа.

Он от старости еле дышал,
как и все, перед смертью, дрожал,

потому-то ел сахар и хлеб,
потому что был слаб, даже слеп.

Жил себе человек никакой,
просто в черных очках и с клюкой.

И не спрашивал, не вспоминал,
только время собой восполнял.

Как-то летом — на лестницах жар...
Он в тени одеяла лежал.

Старцу грезился Экклезиаст.
Но вошел к нему энтузиаст.

Молоко и малина в крови,
на лице — поцелуи любви.

Уши бе-е-лые из-за щек,
там, где сердце, — серьезный значок,

на котором цитата цвела:
„Будь готов! Путь — в большие дела!”

Этот юноша, лишь закурил,
не без логики заговорил,

что живете вы столько веков,
тунеядствуя и без оков,

вы у общества — лишь пациент,
где ваш план и коэффициент?

В вашей комнате — запах вина,
где же борящу-и-йся Вьетнам?

Вы не в силах, так кажется мне,
пасть солдатом в арабской стране.

Улучшается социализм,
а все хуже империализм.

И поэтому, так уж и быть,
мы решили всех вас усыпить.

То есть, старое — остановить,
чтобы новое — для остальных.

В общем, кончен базар. А пока
нужен штепсель и два проводка.

Человек в кладовую пошел.
Все, что юноше нужно, нашел.

Ну, а юноша с искоркой был
и в момент старика усыпил.

Ни тряпицы в квартире не взял,
только члены рассортировал.

Уши прокипятит на уху.
Свинофермам услал требуху.

Чтоб росли поколения умней,
он отнес древний череп в музей.

Кое-что из мясного и кость
получил мясо-косте-совхоз.

По фонарику сделал из глаз,
а из кожи — перчатки для нас.

И тогда стал он мудр или смел:
он мозги сам сварил, сам и съел,

было вкусно ему. А из жил
и лопаток — гитару сложил.

Он гитару в объятья забрал,
задушевно на ней заиграл,

были песни для дум и души
для народа, и так хороши!..

Если скажут, что мерзость и ложь
эта сказка, — ну что с них возьмешь!

Скажем так: „Чем тут можно помочь?“
Или же: „День и ночь — сутки прочь!“

Глава вторая

Шел серый день в дождливом доме.
Их было двое, двое, двое.

Они, как вся живое, жили,
как служащее вся — служили.

На трубах — кисаньки-тихони.
Термометры. И телефоны.

Транзисто-теле-лепетанье.
И холодильники со льдами.

И на балконах, так, немножко
немного, нежного горошка...

Они вставали тоже утром.
Он морду брил. Супруга пудром

свои ресницы осыпала.
И за сарделькой досыпала.

Потом к трамваю поспевали,
в трусы, за лифчики плевали

в трамвае, что ли, трамвайрам
и трамвайкам — пассажирам.

Потом, отмаянные дурью
в какой-то аббревиатуре,

обедом животы питали,
как мулы, формулы писали,

один писал про галогены,
другая — про гематогены.

Они давно писать умели
и счастье творчества имели.

Энтузиаст, убивший деда,
был — муж ее. Она — для дела

эмансипации — супруга.
Они любили? Да. Друг друга.

Смотрели в телеоэкраны:
какие в Греции тираны.

И как у нас (о, жизнь — двойка!)
совсем доверчивы доярки!

И как в Америке бьют негров,
а это, в общем-то, неверно.

И симпатичны как для глаза
романы о рабочем классе.

Досуг на кухне коротали:
он перлы пел на той гитаре,

она — одна в качалке-троне,
и все беременела тройней.

И только тикало весь вечер
луны домашнее сердечко.

А целовались лишь ночами,
как псы, холодными носами.

Лежали, календарь листали,
друг другу животы лизали.

Во снах, в припадках атавизмов,
плясали на кострах туризмов.

А утром на значок плевали,
и так его полировали,

цвела цитата на котором:
„К свершеньям века будь готовым!”

Свершилось: оба простудились, и нами все похоронились.

Но эта вервь не прокрутилась.
И эта ветвь не прекратилась.

Глава третья

Двое родили троих. Ничего. Так бывает.
О диво-дети! У всех — бе-е-е-лые уши.

**Звонкие зубы. А задницы — живопись!
прелесть!**

как из телятины!.. Девочки потому что.

Только они родились, не теряя секунду,
плечико к плечiku вышли из детских
колясок,

взяли серпы и все перерезали злаки,
молоты взяли и все перебили металлы.

После пошли в сады Гесперид и убили
Атласа:
не усмотрели реального смысла в Небесном
своде.

Стало им так хорошо, как в кислороде, без
Неба.

Только мешали сады. Они их преобразовали:
вывернули все деревья и сделали спички,
а на веревки повесили фрукты
(по алфавиту).

После они приступили к животным:
взяли пчелу полосатую — вывели кобру,
кобру они превратили-таки в полосатую
зебру,
зебра со временем стала, естественно,
тигром.

Эра моя! Хороша эволюция эта:
тигр мог порхать, как пчела, и капать в уста
миллионов
капельки меда.

Тигр (о генетик классической кобры!)
был гениален, как змей, и давал человеку
в желудок
все витамины змеиного мяса — во-первых,

и во-вторых, восхитительную целебность,
общеизвестную истину медицинского яда.

Тигр в то же время был одновременно и
зеброй:
мясо опять-таки, кости для клея и мыла,

собственно молоко, и в результате возгонки
неиссякаемый океан молочного спирта.

После детишки преобразовали природу:
радостно растопили все ледники Антарктиды
и поселили в тепле и в бананах народы и
расы.

После одели во льды солнце Сахары
и открывали во льдах неисследованные
архипелаги.

После осыпали хвойные ветви Сибири,
вместо хвойных иголок воткнули в ветви
ткацкие иглы.

На полюсах, на экваторе были прорыты
каналы,
чтобы дышала земля одной кровеносной
системой.

Всех королей они превратили в капусту,
ну, а капусту венчали на королевство.

Женщин они превратили в мужчин, а
мужчин — в гермафродитов.

„Жизнь потихоньку налаживается,
дружочек?”
„Жизнь потихоньку налаживается — все
потихоньку поумираем!”

Эпилог

Серый дождь во дворе донимал.
Не сыграть во дворе в домина.

Шесть сердец отходили уже,
шесть из них — с нимбом белых ушей.

Шесть известны. Остался седьмой.
Этот плавал из дома домой,

не касаясь ногами земли,
и тем самым товарищей злил, —

матерились! Прекрасен, как Пан,
был (о Боже!) божественно пьян,

все кружил — лепесток на балу,
не служил, не был и белоух.

Не полковник и не капитан,
на „налим” не ответит „Милан”.

Тот же нос, тот же рот, тот же глаз, —
он ужасно травмировал нас:

не сердился и не рисовал,
страшно вспомнить — не голосовал!

И, бесспорно, не спал и не ел.
До чего же он нам надоел!

Не сантехник, не вор и не Бог.
Кто он был? Я ручаться б не мог.

Каждый тайну разведать мечтал.
Этот только летал и молчал.

И — чудовищный тип! — до чего
наши мирные планы довел:

двое бросили пить, и хотя
не блюют и говно не едят,

им все хуже, не лучше ничуть:
кто он? — тикает-екает грудь.

Третий в стужу и даже в жару
уж не бьет кулаками жену,

лишь по носу. Шестой, как Тартар,
посетил драматический театр.

Пятый вышел, как кажется, в нуль:
он заплакал, рукою махнул,

трижды плюнул на этот прогресс
и вступил в члены КПСС.

Так мы мучились все, а пока
так мы мучились, *этот* пропал.

Может, он и не существовал,
а в фантазиях наших летал.

Но не важно — он не был ли, был, —
каждый бед сам себе натворил.

Нету *этого*. Наши труды,
как и прежде — тверды и туды.

Нет его! Но тревожнее спать:
ну, а что если завтра — опять?

Лев ТИМОФЕЕВ

Технология черного рынка, или крестьянское искусство голодать

Я — не крестьянин. И никогда не голодал. Случайно я близко увидел жизнь крестьянской семьи и, начав — с малыми целями — записывать события и обстоятельства этой жизни, вдруг с удивлением понял, что вся советская система, начиная от нашего высокомерного правительства и кончая учеными-атомщиками и поэтами-песенниками, живет за счет сельской семьи, как пиявка присосавшись к крестьянскому хозяйству.

Если бы я так удивился в двадцатых годах, мне бы сказали, что я просто ослеп: тогда все знали и едва ли не во всех газетах писалось, что пролетарское государство не может существовать, не ограбив крестьянина; другое дело, что одни принимали это с восторгом, другие вовсе не хотели принимать, — но знали-то все. С тех пор знания эти несколько позатерлись временем и разговорами по поводу все-народного государства, но сама зависимость системы от крестьянина осталась — изменилось только наше представление о ней. Если в двадцатых годах страна знала, как живет деревня, то теперь, пятьдесят лет спустя, все заслонил собою давно отрабо-

таннный образ процветающего колхозника, который никак не вяжется с хозяйственной деятельностью. Впрочем, доверчивые дети социализма, мы, кажется, и не слишком озабочены тем, чтобы увязать наши представления с реальностью.

Мы, горожане, не знаем деревни, не знаем законов, по которым живет крестьянин. Ложь и предубеждения заменяют нам знания о сельской жизни и передаются из поколения в поколение. И редкий случай, чтобы какой-нибудь потомственный или хотя бы недавний горожанин застыдился бы своего самодовольного незнания, своего пренебрежения к труду, к судьбе крестьянина. Само это незнание, само пренебрежение не замечается, и с течением времени не только не прозреваем мы, но, кажется, все сильнее порошит нас очи...

„Да уж теперь-то крестьянин сыт! — заявляют даже те наши интеллигенты, которые лет десять-пятнадцать назад считали себя приверженцами деревенской темы, были озабочены судьбой сельской России и до сих пор выписывают журнал „Новый мир“. — Уж теперь-то наступил *сытый день* крестьянина”, — говорят они, полагаясь, видимо, на очерки в журнале.

Отчего же только теперь? В нашем представлении *так-то* он всегда был сыт. С детства помню странный анекдот, зло рассказанный кем-то у нас в семье, среди горожан. Будто бы в первую послевоенную денежную реформу крестьянин принес в сберкассу мешок денег — менять. Посчитали — рубля не хватает до ста тысяч. „Вот, черт возьми, не тот мешок прихватил. В том — точно сто”, — подсадовал крестьянин.

Откуда у крестьянина в голодное время мешок денег? Только вместе с недоумением и запомнилась сама эта история — с ее, я бы сказал, сталинским

взглядом на крестьянина: сколько ни драть, всегда есть что брать. Или нет, не столько недоумения в этом анекдоте, сколько надежды: если у крестьянина есть *мешок* денег, значит, в государстве все в порядке, значит, и за себя можно не беспокоиться, и страна проживет — значит, *есть где брать*, есть и что брать.

Пока жив человек, у него всегда есть что брать. Для нашего государства и вопроса такого нет: брать или не брать у крестьянина? Хотя и последнее — БРАТЬ! И как можно больше... Но как? И тут не один вопрос, но целая их цепочка, круг.

Как это может быть, чтобы и дорогостоящая космическая программа, и грандиозные, но мало-полезные хозяйственные начинания у нас в стране, и успешные военные действия в Эфиопии — все бы оплачивалось из скромного бюджета крестьянской семьи? Только ли крестьянская семья сейчас оплачивает политику партии и правительства? Каков вообще *механизм* эксплуатации трудящегося человека в условиях развитого социализма? В этом кругу — и все крестьянские вопросы.

Марксов политэкономический анализ у нас не годится: классические законы капиталистического производства, законы открытого рынка для нас недействительны — ни того, ни другого у нас просто нет... Но вообще без рынка можно обойтись лишь в теоретических построениях советских политэкономов: человеческие потребности столь обширны и многообразны, что не могут уместиться ни в какие нормы, разнарядки, ни в какие *сверху* спущенные планы. Вне планов и разнарядок ищем мы живого *экономического отклика* на сам факт своего существования. И находим.

Чем дольше длится относительно спокойное время вне войны, революций и массовых репрессий,

тем четче наша социально-экономическая система проявляется как чудовищных размеров и размахов *черный рынок*.

Черный рынок живет и развивается — у всех на виду и для всех очевидный. В границах его связей и отношений можно накормить страну картошкой или построить тепловоз, определить сына в университет или купить диплом агронома, отремонтировать трактор или найти место на „лимитном” московском кладбище. Все продается и все покупается вне планов и разнарядок. Ты — мне, я — тебе... Но кому достаются прибыли? Ни мне, ни тебе — мы-то никак из нищеты не выйдемся.

Иногда кажется, что черный рынок — все это искусство дышать в петле запретов и ограничений, вся эта простодушная хитрость, этот кооператив нищих — нами придуманы, что мы тут обманули советскую власть: нам — колхоз, а мы — приусадебное хозяйство; нам — дефицит и распределение по карточкам и талонам, а мы — взятку и товары через заднюю дверь; нам — постную пятницу в заводской столовой, а мы — кроликов разводить в городской квартире; нам — бесплатно плохого врача в конце длинной очереди больных, а мы — с подарками и без очереди к хорошему... Словчили? Дудки!

Когда надо, власти и приусадебное хозяйство прижмут запретами и налогами (так было!), и кроликов из городских квартир милиция повытрясет, и за подарки врачу срока давать будут. Раз терпят, значит, всем выгодно. Раз терпят, значит, без этого и власти не удержаться. Нас тут отпустили слегка, чтоб вовсе не примерли, но на вожжах держат.

Черный рынок — не лазейка, не потайная дверца в стене, которую мы хитро пробили. Черный рынок — и лазейка, и сама стена.

При беглом взгляде кажется, что черный рынок

существует побочно от плановой экономики, что в экономической жизни он явление второстепенное. Но нет! Посмотрев внимательнее, увидим, что как раз черный рынок составляет основу советской экономики, стержень, на котором крутится планово-разнарядочная хозяйственная постройка.

Черный рынок — это социалистический *механизм* власти и эксплуатации, самая суть нашей социально-экономической системы — именно так он обозначился в последнее время.

Ценности, которые здесь циркулируют, поддерживают существующий политический и социальный порядок. Как именно поддерживают? Куда движется общество? Этого мы не поймем, пока сам черный рынок не понят нами, пока не ясна его технология.

Понять технологию тем более необходимо, что это и есть реальная *политэкономия социализма*. Иной экономической реальности при нынешних политических условиях мы не знаем. Да и возможна ли она? Запрет на частную инициативу порождает спекуляцию, коррупцию, тайную эксплуатацию, — это подтверждено всей шестидесятилетней историей нашего государства. И трудно предположить, что может быть как-то иначе, в какой бы стране ни был повторен советский эксперимент...

Но как раз понимать-то мы не вполне готовы. Советское общество по сути своей — совершенно небывалая в истории социально-экономическая система (какие бы аналогии ни приходили в голову исследователям), и для анализа здесь необходим новый инструмент, новые понятия. У нас их пока нет. Поэтому мы вынуждены начать не столько с анализа, сколько с описания. Не столько с научного мышления, сколько с образного восприятия, с изложения личного опыта, индивидуальной судьбы. Может быть, мне, журналисту, взяться за такую

работу — между фельетоном и наукой — было несколько проще, чем кому-то из серьезных ученых.

С чего же начать? С чего мы *можем* начать? Есть лишь один сектор *черного рынка*, разговор о котором под угрозой всеобщего голода разрешен в последнее время и даже поощряется: приусадебное хозяйство крестьянина. Оно-то и интересует нас в первую очередь! С крестьянского двора и начнем...

I

27 марта прошлого года я приехал в деревню в слепую метель. В тот же день, но без моего участия, похоронили Аксиныю Егорьевну Ховрачеву. Я даже видел, как ее хоронят, а не пошел, — не понял, что похороны, не спросил, кто умер. Совсем рядом со мной, мимо моего лица, промелькнул ее гроб, и я еще боковым зрением увидел сосновые доски, а понять, что это за доски и кто их несет, — не понял, не различил в плотном, косом снегопаде. Торопился домой, в тепло, — торопился уйти от метели. Подумал, плотники встретились. Мало ли кто строится, дом поправляет. Или вообще ничего не подумал... А провожатых за снегом и вовсе не увидел... Или увидел провожатых, но не увидел гроба: толпа и толпа, — может, тихая свадьба такая, а может, селенку в магазин привезли, — метель гнала мимо чужих забот.

Только вечером пришли, рассказали, кому и какой дом построили, что за тихую свадьбу сыграли...

Я познакомился с Аксиной Егорьевной Ховрачевой, а заодно и с мужем ее Александром Авдеичем, по прозвищу Кутёк, много лет назад, когда купил в деревне, по соседству с ними, избу и впер-

вые приехал на несколько месяцев, чтобы ловить рыбу, ходить за грибами и писать диссертацию о мелодике русского стиха. Самое первое знакомство состоялось в дождливый осенний день — для меня на всю жизнь особенный, как непонятный и до сих пор не понятый вязкий кошмар, а для Аксиньи Егорьевны, может, и не единственный такой, — когда пьяный Кутёк, избив ее до сумеречного сознания, за волосы выволок во двор и свободной рукой стал шарить вокруг — топор искал, казнить собирался на виду у четырех оцепеневших дочерей.

Убил бы, если бы не помешали? Кутёк-то вряд ли убил бы — очень уж он жалкий и тщедушный мужичишка был. Он и не думал убивать — так, тешился... Однако пьяного кто разберет? Сама же Аксинья Егорьевна рассказывала: за год до моего первого приезда в Гати один тоже потешился пьяный, троих детей своих сжег, ночью старательно со всех углов избу запаливал. Жену его спасли, в огонь обратно не пустили, и тогда она, вроде еще не успев обезуметь, призналась, что сама во всем виновата: это ее. Господь наказал за *аборты*. А на аборты она ездила из-за того, что от пьяного последний ребенок родился совсем *простой*, — его на третьем году жизни в больницу сдали. Он-то один и уцелел.

— Сколько ей нужно было простых родить, чтобы те трое жить остались? — спросила Аксинья Егорьевна... Впрочем, на моей памяти это был единственный случай, чтобы она на что-то всерьез роптала.

В течение многих лет мы прожили соседями с Аксиньей Егорьевной, двор ко двору. Я видел нечастые дни ее радости, вроде того, когда вышла замуж третья дочь, глухонемая Рая, — вышла за хорошего, скромного парня, работающего милиционером в Рязани. Я видел, как гордо ходила Аксинья Егорьевна по селу, показывая родным и знакомым

диплом, полученный младшей дочерью Анной, — та выучилась на зубного техника. Я видел, как отказалась она проехать по сельской улице на новеньком „Москвиче”, когда один-единственный раз приехал навестить ее сын — строитель-монтажник, работающий не то в Египте, не то еще где-то в Африке. В машину не полезла, застыдилась чего-то, но пока машина из конца в конец ездила по селу, с улицы не уходила — от соседей и от прохожих принимала поздравления...

Я слышал, как убивалась, как причитала она, когда умер ее Александр Авдеич. На кладбище вроде дочерью оберегалась, а все же у них в руках лишилась сознания от горя. А дочери плакали сдержанно. Так ли они любили покойного, как мать любила? Так ли жалели его, как она жалела?

Но сколько ни была Аксиныя Егорьевна щедра душой в радости и в горе, безропотна в обиде и страдании, больше этих свойств души меня поражал ее многообразный и великий хозяйственный талант, ее безграничная трудоспособность, умение годами работать без отдыха.

Лет двадцать назад, когда в Гати провели электричество, кто-то из взрослых дочерей прислал ей счетчик. Счетчик приладили, и оказалось, что за все лето Аксиныя Егорьевна нажгла электричества на 8 копеек. Она вставала с первым светом и ложилась едва начинало темнеть. Усталость от чрезмерного труда не пускала празднично засиживаться вечерами, а были все труды вне дома — в колхозе, на своем приусадебном участке, на лесных полянах в сенокос... Не знаю, как зимой, но, начиная с мая и по октябрь, вечерний свет нужен был Аксиные Егорьевне только затем, чтобы не в темноте постель разобрать да кошке налить молока в блюдце, не пролить мимо трясущимися от усталости руками.

Из года в год хозяйственные усилия Ховрачевых заставляли меня все с большим уважением относиться к тому искусству, с которым крестьянская семья избегала нищего рабства, хотя все, что ей осталось для хозяйствования, — крошечный участок приусадебной земли; и скот держать почти невозможно из-за бескормицы, и десятилетиями не было ни колхозных, ни каких других заработков на стороне. Как бы то ни было, но Ховрачевы оставались семьей крестьянской — то есть такой, которая своим трудом на своей земле — какая она ни есть — и себя кормит, и весь народ. И Аксинья Егорьевна слыла главой семьи.

Двадцать лет без мужа она тянула все хозяйство и привыкла надеяться только на себя. Да и раньше, когда муж еще жив был, от него толку выходило немного — смолоду пьянствовал, а к старости все болел. Так что не двадцать, а считай все сорок пять лет она одна всех кормила, одевала, ставила на ноги. И дети все выросли, все выучились, каждый в жизни по-своему устроился. И всех Аксинья Егорьевна кормила не с каких-то волшебных доходов и уж, конечно, не от колхозных хлебов, которых для нее просто никогда не было, а со своего огорода, с сорока соток земли — от черемухи у одного забора до яблони у другого, да вдоль восемьдесят шагов — все, что оставили власти крестьянской семье после коллективизации. Тут она работала сама и заставляла работать детей. Это было ее поле, ее надежда, а больше надеяться было не на что — только на себя и на эту землю. Что бы стала она делать без этого огорода с восемью ртами в семье? Ничего. Без этого огорода прожить было нельзя.

Пока есть своя земля и дом на земле, она самостоятельная хозяйка — как работает, так и живет...

Земля-то, конечно, не ее, а считается колхозной или даже государственной и только за отработку в колхозе полагается, но Ховрачева Аксиныя и в колхозе навечно на Доске почета оставлена, всюду труженица была.

О том, как она работала в колхозе, я слышал чуть ли не легенды. Да я и сам хорошо помню те времена — лет пятнадцать назад, — когда она еще ходила на работу. Ей тогда уже было за шестьдесят... Каждое утро перед домом останавливался бригадир и, не вылезая из своей брички, кричал: — Окся! Выходи сор рвать!

Это „сор рвать” он кричал как одно слово „сорвать”, и получалось, что он зовет Аксиныю Егорьевну для какой-то пустяшной работы: где-то что-то надо сорвать — цветок ли, травинку ли — и можно возвращаться. На самом же деле речь шла о прополке, об одной из самых трудных и нудных работ в полеводстве: на солнцепеке, согнувшись, постоянно на ногах, постоянно в движении, и не видать, где остановишься, поскольку вручную прополоть все колхозные поля невозможно — пока до крайней межи дойдешь, на первой все как прежде выросло.

Вечером природа трудолюбия на колхозном поле становилась совершенно понятна: Аксиныя Егорьевна возвращалась и везла с собой тележку, полную сорной травы. Кроме начисленных трудовых, которые неизвестно когда и как оплатятся („да оплатятся ли нынешний год?”), трава была главным призом за работу: сорняки разрешалось брать себе — жесткое сено годилось на корм скоту, и я думаю, что и не требовался интерес более привлекательный, — с сеном всегда было трудно.

Да и вообще главным в колхозных заработках были не деньги — на трудовень только последние

лет десять стали платить хоть какими-то деньгами; и даже не натура, хотя три-четыре мешка ржи, случавшаяся иногда годовая плата за каторжный крестьянский труд, имели для семьи большое значение — главным было право на покупку соломы и сена для личного скота, право на сенокос и, наконец, самое главное право — право на приусадебный участок, на полгектара земли, *право на приусадебное крестьянское хозяйство*. Случалось, что в колхозе работали совсем задаром, без денег и без натуроплаты, но зато правами своими пользовались, ибо иначе нельзя было реализовать другое, не властями данное право — *право на жизнь*.

„Если у вас в артели нет еще изобилия продуктов и вы не можете дать отдельным колхозникам, их семьям все, что им нужно, то колхоз не может взять на себя, чтобы и общественные нужды удовлетворялись, и личные”, — учил товарищ Сталин в 1935 году¹.

Крестьяне составляли в те годы три четверти населения страны, но крестьянское — не общественное. Крестьянская семья — как бы вне общества. Ее нужды не заслуживали внимания. „Колхоз не может взять на себя...”

И не брало на себя государство никаких забот о крестьянах, о крестьянских семьях.

„В 1939 году около 16 тысяч колхозов не оплачивали труд в деньгах, 46 тысяч колхозов выдавали только по две копейки на трудовень, около 9 тысяч колхозов не выдавали зерна на трудовни”².

За этими цифрами официальной статистики — уже треть всех колхозов страны, шесть миллионов крестьянских семей. Сколько голодающих за этими цифрами? Неизвестно, как неизвестны нам данные о голодающих и в тех колхозах, где выдавали по 3-4 копейки и по полкило зерна на трудовень.

Да, может быть, и не так уж много народу голо-

дало в предвоенные годы, меньше, чем в кладбищенском тридцать третьем, — научились уже к тому времени кормиться, рассчитывая только на приусадебное хозяйство. Но и государство училось все крепче, все безысходнее прижимать крестьянина, отнимать личное в пользу „общественного”: в 1939 году, после очередного пленума ЦК партии, у крестьян было отнято более 2,5 миллионов гектаров приусадебной земли — излишки, отвлекают от общественного хозяйства, позволяют сохранить хоть какую-то независимость...

Благополучие, или хотя бы только сытость крестьянской семьи, вообще казалось властям совершенно необязательным, а может быть, даже и вредным излишком; и потому колхозник не только лишался всего, что производилось его трудом в колхозе, но и приусадебный участок, приусадебное хозяйство, кормившее семью, было жестоко обложено. Каждый крестьянский двор, независимо от состава семьи, сдавал обязательные поставки молока, мяса, яиц, шерсти, кож. Да еще и денежный налог — кто сто рублей, а кто и больше. Этот денежный налог был удивительным изобретением советского фиска: налог все на те же сданные государству продукты, *налог на налог*.

Спрашивали жестоко:

„... по истечении срока уплаты налога опись имущества недоимщика и дело о неуплате налога передается в народный суд, по решению которого производится изъятие имущества неплательщика в количестве, необходимом для погашения недоимок...”³.

Но где же взять деньги, если колхоз ничего не платит? А все там же искать их, в приусадебном хозяйстве: продавать продукты, даже если сами голодны, — на рынок!

Но как ни беспросветна жизнь Аксины Егорьев-

ны и ее односельчан была в первое десятилетие после коллективизации, как ни нище было русское крестьянство к 1941 году (а среднерусским крестьянам, сидящим на скудных почвах, всегда жилось особенно тяжело), как ни лишен всякого смысла становился крестьянский труд на земле, — война добавила страданий и разорила крестьянство вконец. Первые пятнадцать послевоенных лет были такими, что если и не на каждый год скажешь: голод, — то все-таки и без сурового недоедания ни одного года не прожито... Но все эти годы оброчные поборы со двора колхозника продолжались, и проплывали мимо голодных детских глаз и молоко, и мясо, и яйца. Крестьянские дети — забота не общественная...

Оброк этот номинально был отменен в 1958 году. Но местным властям сразу же „довели” план по закупкам все тех же продуктов, от выполнения которого зависело служебное благополучие работников сельсоветов, и они всеми способами, вплоть до прямого физического насилия, заставляли крестьянина сдавать (номинально же — продавать по самым мизерным ценам) столько, сколько было на деревню разнаряжено; и продавали, куда денешься? Ведь сунешься уехать — не пустят, паспорта не дадут. А без паспорта нигде ни жить, ни работать не примут. Крестьянин был „крепок” колхозу своему.

Даровой труд в колхозе, денежный налог, натуральный налог Аксиныя Егорьевна хорошо помнила: чем заплачено за право на приусадебное хозяйство, за право на жизнь. Помнила, а вот рассказать никогда не могла, хоть и пыталась как-то — плакать начинала: все-таки шестеро малых в доме было. Голодных детей и через двадцать лет, и через тридцать вспоминать страшно. Даже если, Бог дал, никто из них не умер.

Теперь Аксины Егорьевне не надо больше подтверждать свои права: у нее пенсия — двадцать рублей от государства и десять от колхоза. Это, правда, ниже самой низкой пенсии городского жителя, — что-то около того, что инвалиду с детства дается, — но зато огород остается за колхозным пенсионером, покуда тот живет в деревне и покуда вообще живет еще. И если на старости лет с огородом справишься, весь рыночный доход — твой. Много ли ей одной надо?

Младшая дочь звала Аксиныю Егорьевну в город и даже настоятельно просила получить паспорт, выписаться и приехать, поскольку мужу ее обещали скоро квартиру; и приезд матери, а там, может быть, и скорая смерть ее — человек все-таки немолодой — сулили лишние метры жилплощади. Но как ни привыкла Аксиныя Егорьевна в последние годы бывать в городе, как ни жалела дочь, мысль, что останется без своих сорока соток земли, где она из года в год сажала, а потом и продавала картошку и еще на маленьких грядках огурцы, помидоры и все необходимые овощи, — эта мысль выводила ее куда-то в сироты и казалась ей совершенно невозможной.

Поэтому я не удивился, когда в какой-то из моих приездов в деревню Аксиныя Егорьевна пришла с чистым листом бумаги, с конвертом и еще с одним клочком бумаги, на котором был записан адрес дочери:

— Напиши им, что летом я точно не приеду, — сказала она, — пусть не обижаются. Скажи, земля не пускает. Куда я от своей картошки поеду? Нынче, говорят, за килограмм по десяти копеек в сельпо принимать будут. Да и им самим в город картошка нужна будет, — поди, подорожает там-то...

Она молча сидела, пока я писал, молча выслуша-

ла, когда я перечитал письмо вслух, но, принимая уже готовый, заклеенный конверт, вдруг невпопад спросила:

— Кто же это нас такой жизнью каторжной наказал? — Так просто спросила, словно я и мог, и обязан был так же просто в нескольких словах и ответить... Но нет, не ради ответа спросила. Да и не вопрос это был, вздохнул человек от усталости...

II

От Гатей, деревни, где жила Аксинья Егорьевна, до Посадов всего-то километров двадцать по прямой, но если Гати — с первого взгляда — деревня бедная, деревянная, под шиферной щепней, а кое-где и под соломенной, то в Посадах и бревенчатых избышек, кажется, ни одной не осталось — все каменной кладки дома, просторные по сельским понятиям, в две-три комнаты, с большими окнами, с огромными дачными террасами и непременно под оцинкованной крышей. Весной вся эта роскошь волшебным образом исчезает, делается невидимой за бело-розовым дымом цветущих садов, а осенью наоборот: белокаменные стены и зеркальные крыши далеко видны на черных от дождя речных берегах. Откуда такое богатство на нищих просторах?

Никакой тайны, никакого волшебства. В Посадах все доходы — от приусадебных участков. В огороде здесь не сажают ни картошку, ни лук, ни капусту, а одни только ранние огурцы. В июне урожай созревает и на попутных машинах отправляется на рынки Москвы, Рязани, Пензы, — а бывает, и еще дальше, благо село расположено рядом с шоссе. На те же рынки, ближе к осени, везут яблоки...

Имея в своем распоряжении даже самый крошечный участок земли, крестьянин всегда будет стремиться вести не натуральное хозяйство, но товарное, рыночное, поскольку потребности его семьи значительно шире потребностей в простейших продуктах питания, которые можно получить в своем хозяйстве.

В хорошие годы один приусадебный участок в Посадах дает до пяти тысяч рублей. И выручив эти деньги, посадские уже в соседних деревнях покупают и картофель, и лук, и все остальное, что необходимо для личного потребления. Пять тысяч на семью в четыре-пять человек — не ахти как много, но все же и чистая выручка не вся уходит на питание. Да теперь и в колхозе какие-никакие, а все-таки деньги платят: хороший механизатор тоже тысячи полторы, а то и две в год имеет.

Наша знакомая Аксинья Егорьевна всякий раз, едуци из города, где гостила у дочери, мимо Посадов, так бывала поражена разницей в доходах, что воображение доводило эту разницу и вовсе до нереальной величины:

— Как люди живут! Я как-то зашла к одним напиться, — чего у них только нету! Даже через дверь видать. Подумай, телевизор в сенях стоит — это уж значит, что они его совсем не ценят. „Этот, говорит, мы смотрим, когда большой сломается“. А большой у них в горнице показывает... Откуда ж эти деньги берутся? Мы вон тоже работаем, а всю жизнь в деревянном срубе прожили, словно в колоде просидели.

— Знаю я этот дом, — возразил было я, — там хозяин подрабатывает починкой чужих телевизоров. Должно быть, в сенях-то чей-нибудь сломанный стоял?

Аксинья Егорьевна промолчала, — она спорить

не любила, но видно было, что она осталась при своем мнении о размерах богатства посадских крестьян, исчисленного в телевизорах...

В другой раз где-то по дороге она увидела огород, сплошь занятый капустой, — и это поразило ее:

— Зачем столько? Или нерусские — одну капусту едят?

— Может быть, на продажу?

— Да чего уж там продавать? Капуста — по тридцать копеек кочан. Ну, пусть две тысячи кочанов, — шестьсот рублей весь доход. Да мы иной год и на картошке столько-то выручали, да еще себе и скотине на всю зиму хватало. Так ведь картошка! А с капустой возись: весной поливай, летом червяковобирай... Нет, не выгодно.

Аксинья Егорьевна хоть и была неграмотна, и в колхозе, конечно, никаких иных работ, кроме работы руками, ей не доверяли, но меня всегда удивляло, как точно она считает и высчитывает в своих повседневных делах.

— Постой! А может быть, они ее квашеную продают? — Эта новая идея совершенно повернула ход ее рассуждений. — Ну да — квасят! А за квашеную капусту на базаре и по пятьдесят, и по восемьдесят копеек ломают! А перед праздником — и по рублю кило. Да она и тяжелее, квашеная-то: в ней соль, а соль из воздуха воду берет. Вот ведь чем торгуют! Вот они где, деньги-то! Тут уж доход на тысячи считай. А велик ли труд заквасить капусту? Любая старуха справится...

Все эти открытия сильно взволновали ее, и я даже подумал, не займется ли моя соседка на старости лет производством квашеной капусты, чтобы иметь возможность купить большой телевизор.

Я давно знал за ней постоянную готовность пус-

тить в оборот единственный наличный капитал — собственные рабочие руки. Это не раз давало ей возможность выгодно продать картошку или за даром наносить с молзавода на пойло скотине или даже на постный сыр для себя самой обрата.

Кажется, и теперь она близка была к тому, чтобы войти в дело. Такая идея приходила ей в голову, поскольку на следующий день она была несколько опечалена:

— О капусте-то говорили, — напомнила она, — так нам капуста не годится. Первое, что мы от шоссе далеко: капусту хорошо зимой продавать, а у нас как заметет, так из сугробов не вылезешь. Если какой шофер согласится, так на него все капустные деньги и уйдут. Да хоть бы и была дорога — все равно плохо. Для этого дела свой инструмент нужен: вручную столько не нашинкуешь. Бочки нужны. Одних бочек штук девять — меньше невыгодно. Для бочек большой погреб нужен... Ну, и еще привычка нужна. Без привычки столько капусты не вырастишь — или червяк сожрет, или еще что случится... Те-то, поди, не первый год капусту сажают, привыкли...

Те привыкли, иные не привыкли. Объяснение не такое уж наивное, как кажется на первый взгляд. Привычка, а другими словами — традиция и опыт, долгосрочное из года в год приложение невеликого крестьянского капитала — труда и знаний — к одному и тому же делу в приусадебном хозяйстве имеет особое значение: сельский житель напрасно рисковать не станет и никаких новшеств на приусадебном участке вводить от себя не будет — слишком дорог ему урожай со своей земли.

Впрочем, я уверен, что не одной только Аксинье Егорьевне пришла в голову идея выйти на рынок с квашеной капустой или еще с каким-нибудь то-

варом, более доходным, чем традиционная картошка. Но под неусыпным контролем государственной власти, не раз ужесточавшей свою политику по отношению к приусадебному хозяйству, нужно особо благоприятное стечение обстоятельств, особое доверие к обстоятельствам, чтобы решиться на хозяйственную инициативу. Крестьянин, хоть и цепок, когда дело отлажено, но осторожен.

Эта, казалось бы, побочная для колхоза, но основная для колхозника крестьянская жизнь требует значительно более ответственного подхода к делу, чем в отработочном колхозно-совхозном хозяйстве, где что ни прикажут сверху, какую глупость ни спустят, — все исполняется в миг, на пользу ли, во вред ли урожаю — никого не заботит... Здесь же крестьянину принадлежит и инициатива, и капитал, и средства труда, и весь конечный продукт. Здесь он — хозяин. Здесь он — человек. Здесь он как бы микромодель того хозяина, каким мог бы стать, если бы не отобрали у него в тридцатом году скот и землю, оставив с игрушечным приусадебным хозяйством.

Крестьяне зарабатывают возможность жить хоть как-то сносно, поскольку могут часть своего рабочего времени, часть своих сил реализовать в иной хозяйственной системе — не в гласно-социалистической, разнарядочной, а в рыночной.

Крестьянский рынок сужен до размеров базарной площади, исковеркан феодальными отношениями личной зависимости колхозника от административной власти, имеет вообще вид придатка к тому главному базару, где торгуют партийными должностями и демагогическими ценностями, вроде посулов всеобщего народного блага и скорого торжества идей коммунизма... и все-таки это — ры-

нок и не что иное. Рынок, без которого социалистическое государство обойтись не может.

При первом знакомстве цифры потрясают: на приусадебных участках, по разным подсчетам занимающих лишь *два с половиной* или даже *полтора* процента всех посевных площадей страны, в крестьянских хозяйствах, обладающих лишь *одной десятой* всех производственных фондов сельского хозяйства, производится *треть всего* сельскохозяйственного продукта. Таковы данные официальной статистики⁴.

Но официальная статистика молчит о том, что не менее трети сельскохозяйственной продукции, произведенной в колхозах и совхозах, ежегодно гибнет из-за потерь в поле, при транспортировке, при складировании, при первичной переработке. По некоторым данным, например, гибнет до половины всего картофеля...

Официальная статистика, исчисляя валовой продукт в стоимостном выражении, конечно же, молчит о том, что государственные закупочные цены на зерновые, которые производятся в основном колхозами и совхозами, значительно завышены, а цены на мясо, овощи, картофель, то есть на продукты, которые наиболее широко распространены в крестьянских хозяйствах, — занижены.

Официальная статистика молчит о том, поскольку в противном случае пришлось бы признать, что в совокупном объеме *потребленной* сельскохозяйственной продукции доля приусадебных крестьянских хозяйств с их полутора-двумя процентами пахотной земли намного больше половины. Да что там, в прибалтийских республиках доля приусадебных хозяйств в совокупном сельскохозяйственном продукте и по официальной статистике составляет почти половину: в Литве, например, —

43,6%. В то же время „в семьях колхозников Литовской ССР в 1971 году 50,5% общих доходов было получено из личного подсобного хозяйства”⁵.

В этих цифрах — позор советской хозяйственной системы и несчастье крестьян, чья инициатива, чей талант скованы размерами приусадебного огорода и огромным количеством административных запретов... Несчастье крестьянское, но и надежда.

Продукция крестьянских хозяйств кормит всех сельских жителей — 40% населения. Но мало этого. Даже согласно официальной статистике, здесь производится половина всего товарного картофеля, не менее трети товарного количества яиц, треть товарного мяса, — то есть продукты, которые продаются и кормят значительную часть городского населения. Нет, без крестьянских хозяйств социалистическая экономика и дня не проживет.

Оказалось, что экономику невозможно зарегулировать полностью. Экономика — такой механизм, где без связи с маховым колесом рыночных отношений, раскрученным всей историей человечества, скрипят и замирают шестерни планово-бюрократической хозяйственной системы. Рынок, рынок — в основе экономики. Уничтожить его — значит уничтожить народное хозяйство страны. Это хорошо понимал Сталин, когда выгонял крестьянина работать в приусадебный огород: „... колхоз не может взять на себя...” Покуда живы рыночные отношения, к ним можно и социалистическую экономику пристроить. Даже если это — отношения подвластного государственной администрации *черного рынка*. Как раз именно черный рынок властям и нужен... Но об этом — разговор впереди, пока же посмотрим, каким образом крестьянин со своего крошечного огорода кормит страну.

Почему именно Посады богатеют на ранних ово-

щах? Во-первых, село расположено удобно: прежде река, а теперь шоссе придвигают здешние огороды прямо к городскому рынку. С грядки — на прилавок, и без лишней перевалки. Во-вторых, здесь „жирная” земля, черноземный остров в море супесей и подзолов, — поэтому выше урожаи, поэтому овощи раньше созревают, поэтому требуют меньше полива. Кто может с ними конкурировать? Из всех удобно расположенных сел в Посадах — лучшая земля.

Но на рынке все продают по одной цене — и с лучших земель, и с худших, причем цена устанавливается по худшим землям, иначе кто станет сажать на своем участке овощи, если они не дают никакого дохода? Поэтому из всех, кто производит огурцы, посадские имеют самый большой куш, — их овощи достаются им дешевле, чем остальным, а идут по одной цене со всеми. Разница — в карман. Все это — основы политэкономии, прямо хоть учебник цитируй: до каких-то границ черный рынок притворяется обычным открытым рынком, и в таком виде манит крестьянина.

Крестьяне, даже и не знакомые с учебником политэкономии, давно уже поняли рыночные механизмы и применяют их на практике. И, конечно, не только в Средней России или, скажем, в Молдавии, где в последнее время „колхозники сокращали посевы под зерновыми, как менее интенсивными культурами, и расширяли производство винограда и плодов — наиболее доходных и (...) интенсивных культур”⁶, но прежде всего в Грузии, в автономных республиках Северного Кавказа, в республиках Прибалтики, в Белоруссии, где в совокупный доход крестьянской семьи приусадебное хозяйство дает больше половины⁷.

„Курская картошка путешествует на рынки Донбасса; среднеазиатские и закавказские фрукты — на рынки городов Центральной России; украинский лук — в Москву, Горький, Тулу и т. п. Особое место в снабжении московских рынков продукцией личных подсобных хозяйств занимают Рязанская и Липецкая области”⁷ (там же).

Возможность самому и, как кажется, с максимальной выгодой приложить свой труд толкает людей поистине на великие землевладельческие подвиги. Чего стоят одни только клубничные хозяйства в пригородных зонах больших городов, где на нескольких сотых, если вообще не тысячных долях гектара получают урожаи, а значит, и доходы, которые даже нашей Аксинье Егорьевне не снились при всей живости ее хозяйственного воображения.

Писатель В. Солоухин разглядел напористую силу этого явления:

„Под конец нашей цветочной экскурсии меня привели в помещение, называемое теплицей...

— Четырнадцать квадратных метров, — пояснил хозяин. — Искусственный климат. Урожай по желанию — в любое время года. Но я приурочиваю к первому январю.

— Огурцы или помидоры? Оно, конечно, к новомуднему столу свежий огурчик — цены нет. То же и помидор...

— Ну что вы! Огурцы — это грубо и дешево...

— Тогда о каком новогоднем урожае вы говорите?

— Цветы. Тюльпаны. Вот о каком урожае. По два, по три рубля за цветок. Эти четырнадцать метров приносят мне пять тысяч рублей дохода”⁸.

Два рубля за цветок — дорого или дешево? А рубль-полтора за килограмм картофеля на рынках Средней Азии? А рубль-два за лимон на базаре Новосибирска? Дорого, очень дорого! Но такова рыночная цена, и вряд ли найдется альтруист, который

станет просить за лимоны по гривеннику: когда действуют рыночные отношения, добрая душа и высокая нравственность не помогут, у рынка свои законы, причем законы рынка имеют объективный характер. Поэтому наивно ругать за дороговизну какого-нибудь дерзкого кавказца, продающего персики или мандарины. У рыночного торговца нет души, он — фигура чисто экономическая, за ним — *весь советский хозяйственный строй*.

Представление обывателей, что на среднерусских рынках наиболее сильно наживаются кавказские и среднеазиатские крестьяне, — ложно. Базарная выручка должна быть поделена в соответствии с численностью семьи колхозника, и тогда окажется, что, например, в „1966 г. Туркмения занимала среди союзных республик первое место по совокупному доходу на семью и девятое место по душевому доходу... В то же время Эстония стояла на первом месте по душевому доходу и на седьмом — по семейному”⁹.

Нет, рыночная дороговизна — не от алчности крестьянской души. Да и те сияющие *пять тысяч*, которые время от времени фигурируют как *максимальный* доход от приусадебного хозяйства, в лучшем случае доход семьи в четыре-пять человек, причем не чистый доход, а всего лишь рыночная выручка, — тогда как затраты при ведении хозяйства бывают весьма велики. Так что от рыночной дороговизны крестьянин не становится самым богатым человеком в обществе. Фактический денежный доход крестьянской семьи не выше, но в огромном большинстве случаев ниже, чем средний доход семьи промышленного рабочего при двух работниках (294 рубля по официальным данным).

Нет, не крестьянин возгоняет цены на рынке.

Тюльпаны — или ранние огурцы, или первые майские помидоры, или всегда и всем необходимое мясо — стоят на рынке дорого лишь потому, что производятся индивидуальным способом и в малых количествах. Развернуть их производство более широко крестьянин не может, размеры его хозяйства административно ограничены, никакая частная кооперация не разрешена. Крупные же сельскохозяйственные предприятия (колхозы, совхозы) рассчитаны не на удовлетворение прямого спроса потребителей, но на товарное обеспечение обменной и распределительной политики государства в интересах и для удобства партийной бюрократии — этой правящей структуры государства, охраняющей существующие порядки и себя вместе с ними.

Именно политикой правящей структуры обусловлены цены, объем капиталовложений — прямых и косвенных, — а в конечном счете определяется и объем производства. Потребительский спрос дальним светом еле пробивается сквозь мглу бюрократических отношений. Какие уж тут тюльпаны, когда в течение десятилетий сельское хозяйство финансируется и снабжается так слабо, организовано так бездарно, что хлеба, мяса, молока от крупных хозяйств все никак не получим в мало-мальски достаточных количествах.

Так что обывательские разговоры о совести и душе нужно по крайней мере отложить до выяснения причин дороговизны, причин нехватки продуктов питания в стране, — тогда и ясно будет, о чьей совести вести речь. Вообще-то говоря, если душа — в некоем мистическом значении слова — вмещивается в рыночные отношения, то ничего хорошего не получается. В Средней Азии я знаю один колхоз, где приусадебные сады цветут и плодоносят обильнее, чем всюду вокруг, а их владель-

цы живут беднее, чем соседи. Оказывается, здешняя земля орошается водами священного источника, и все, что на ней вырастает, по мусульманским законам не подлежит продаже — табу! А раз табу, то нет необходимости искать наиболее товарные сорта яблок и винограда, нет необходимости строить траншеи для цитрусовых, — что росло от века, то и теперь растет. Идеологические условности приглушили экономические возможности, притормозили инициативу.

Может быть, *идеологические условности* тормозят и развитие экономики всей страны? Частная инициатива — табу! Рыночные отношения — табу! Стремление к прибыли — табу! Это ничего, что хлеб везем через один океан — из Америки, а мясо — через другой, из Новой Зеландии. Зато экономика наша щедро омывается священными идеями Маркса-Энгельса-Ленина... (чуть было не сказал — Сталина, но теперь не принято, хотя, по существу, чего же стыдиться?).

Можно, конечно, предположить, что все действующие запреты — печальная ошибка, условности, недоразумение, которое само собой рассеется по мере того, как будет увеличиваться разрыв между потребностями населения в продуктах питания и низкой производительностью крестьянского труда, хилыми возможностями социалистического сельского хозяйства эти потребности удовлетворить. Но не будем выдавать желаемое за действительное. Запреты — не случайность и не условность. Они — инструмент *правлящей структуры*, инструмент партийной бюрократии, то есть инструмент охраны существующих государственных порядков. И установлены все запреты в стремлении оградить государство партийных чиновников от посягательств, скажем, со стороны экономически окреп-

шего крестьянства или со стороны политически осознавшей себя техноструктуры.

Сталин понимал это лучше других. И хотя сегодняшняя партийная верхушка старается делать вид, что не замечает его тени, именно он среди прочих классиков марксизма-ленинизма ближе к нынешней политике правящего класса:

„Верно ли, что центральную идею пятилетнего плана в *Советской стране* составляет рост производительности труда? — спрашивал он в своей знаменитой речи против Бухарина. — Нет, не верно. Нам нужен ведь не *всякий* рост производительности народного труда. Нам нужен *определенный* рост производительности народного труда, а именно — такой рост, который обеспечивает *систематический перевес социалистического*, (то есть не рыночного, напрямую подвластного партийной бюрократии, объективно работающего на укрепление ее власти. — Л. Т.) *сектора народного хозяйства над сектором капиталистическим*”¹⁰.

Именно запреты составляют суть власти, содержание деятельности партийной бюрократии: она обойдется без хлебного изобилия в стране, ей не нужна торговая прибыль, не обязательна всесторонне и гармонично развитая экономика — ей нужна только власть, безграничное изобилие власти, прибыль в виде увеличения власти, развитая система получения все новой и новой власти по мере продвижения в партийной иерархии.

Поскольку партийная бюрократия (как некогда — вырождавшийся класс феодальных землевладельцев) никоим образом не участвует в общем потоке производства материальных и духовных ценностей, который и зовется прогрессом общества, у нее остается только одна возможность не быть смытой этим потоком: возможность установить строгую систему запретов, ограничений, „табу”. И все „мероприятия партии и правительства в области эконо-

мики”, которые объявляются каждый раз как великий дар народу, есть не что иное, как робкое лавирование партийной бюрократии среди ею же установленных плотин и барьеров — лавируют, чтобы вовсе не утонуть.

Но *черный рынок* как раз ничем и не угрожает стабильности нынешнего государства. Строго говоря, он ему целиком и полностью подконтролен, а потому — выгоден. Колхозная система с самого начала и задумывалась как система черного рынка, и сфера его значительно шире базарной площади, — это мы сразу увидим, вновь обратившись к Сталину:

„И если у вас в артели нет еще изобилия продуктов, и вы не можете дать отдельным колхозникам, их семьям, все, что им нужно, то колхоз не может взять на себя, чтобы и общественные нужды удовлетворять и личные. Тогда лучше сказать прямо, что вот такая-то область работы — общественная, а такая-то личная. Лучше допустить прямо, открыто и честно, что у колхозного двора должно быть свое личное хозяйство, небольшое, но личное. Лучше исходить из того, что есть артельное хозяйство, общественное, большое, крупное, решающее, необходимое для удовлетворения общественных нужд, и есть наряду с ним небольшое личное хозяйство, необходимое для удовлетворения личных нужд колхозника”¹¹.

Добрый Сталин, который, как видим, разрешил крестьянской семье не умирать с голоду в тридцатых годах, как, впрочем, и добрый Брежнев, который настойчиво подталкивает крестьян к интенсификации труда на приусадебных хозяйствах в семидесятых, — не уточняют, конечно, какую часть суток крестьянин должен отдать „личному” хозяйству. Ясно, что лишь ту, что остается от трудов в колхозе... Вот где начинается *черный рынок*! Здесь, а не у базарных ворот. Он начинается с того, что крестьянина *вынуждают* продавать обществу

свой *сверхурочный* труд, тогда как его труд в колхозе попросту отнимается задаром или почти задаром, без удовлетворения элементарных нужд крестьянской семьи. Вот где самая главная „купля-продажа” на черном рынке: не морковка продается и не петрушка, но труд и жизнь крестьянина...

Но кто же здесь покупатель?

III

Колхозная, гармоничная система сельского хозяйства удобна правящей структуре и всемерно поддерживается ею как идеальная система эксплуатации крестьянства, — поддерживается целиком, включая институт приусадебного хозяйства...

Впрочем, уместно ли, размышляя о приусадебном хозяйстве, говорить об *эксплуатации*? Ведь здесь крестьянин работает на себя: сколько в огороде ни вырастит, сколько в загороде не выкормит — все ему, никто теперь не отберет. Работай, живи, пользуйся...

И все-таки я знал человека, который по доброй воле решил отказаться от своего огорода. Да не где-нибудь, а в самих „огуречных” Посадах, которым завидуют окрестные деревни и села. В конторе тамошнего колхоза мне показали такой документ:

*„В правление колхоза „Счастливая жизнь”
от механизатора Тюкина Гаврилы Ивановича*

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу отобрать у нашей семьи индивидуальный огород и предоставить нам с женой возможность зарабатывать в колхозе дополнительно еще три тысячи рублей, которые мы ежегодно выручаем на базаре от продажи ранних огурцов. Моя просьба вызвана тем, что вчера, возвращаясь с работы на ферме, моя жена, Тюкина Анна (1951 г. рожд.), увидела, что перед ней по дороге катятся цветные шары, —

наработалась, значит. Когда жена остановилась, шары исчезли, но когда пошла дальше, шары опять покатались. Справку от фельдшера прилагаю.

В случае, если мою просьбу выполнить нельзя, я не разрешу своей жене ходить на ферму, где она работает дояркой и получает редко больше ста рублей в месяц. Пусть уж тогда одними огурцами занимается на приусадебном участке да за ребятишками смотрит...

Подпись: Тюкин"

Хитрый Тюкин рассчитал безошибочно: приусадебный участок у него, конечно, не отобрали. Деньги, которые жена приносила с фермы, никакого серьезного значения в бюджете семьи не имели, — по крайней мере старания в „огуречном деле" дадут значительно больше доходов. Что же до участия в колхозном производстве, которое, как мы знаем, одно только и дает право иметь приусадебный огород, — то Тюкин полагал, что его собственная доля в колхозных трудах достаточна велика, чтобы не жертвовать здоровьем жены, — он и сам-то и в колхозе, и дома поспевал на последнем дыхании...

Радуюсь доходам крестьянина от своего приусадебного хозяйства, подумаем: если в индустриально развитой стране здоровому человеку приходится работать на пределе физических возможностей — иначе не прокормит семью, — не значит ли это, что *прибавочное* рабочее время растянута за естественные, природой поставленные границы? Это ли не эксплуатация сверх всякой меры?

Прибавочный труд создает прибавочный продукт, который отнимается правящей структурой и направляется на расширение производства в интересах стабильности государства, на научно-технические исследования и разработки (в тех же интересах), на содержание лиц, не занятых в сфере производства, но своей деятельностью поддерживающих существующую систему.

Если бы государство партийных чиновников отнимало у крестьян лишь прибавочный продукт, произведенный в колхозе, оставляя крестьянину необходимый — то еще бы не беда, — оно поступало бы по законам товарного производства. Беда в том, что отнимается и прибавочный продукт и необходимый продукт.

С самого начала сплошной коллективизации, с первых дней колхозной системы „пролетарское” государство оставило крестьянина на произвол судьбы. У крестьянина забирали все под метелку, нисколько не заботясь о том, остались ли ему хотя бы самые необходимые средства существования.

Какой садистский акт — сообщить с гордостью, как достижение (не к этому ли стремились?) на XVIII съезде партии:

„Средняя выдача зерна в зерновых районах (выделено мной. — Л. Т.) на один колхозный двор поднялась с 61 пуда в 1933 году до 144 пудов в 1937 году”¹².

И где! На Кубани, на Дону, в Новороссии — на богатейших землях, о которых более чем за сто лет до того еще Сисмонди было известно, что они способны не только досыта накормить живущий на них народ, но и дать такой урожай, „что русским хлебом было бы легко снабдить все рынки, которые оставит открытыми для русских и поляков цивилизованная Европа”¹³.

61 пуд на большую крестьянскую семью — голод, по двухсотграммовой тюремной пайке на человека в день. 144 пуда — едва ли возможное существование. Но то в зерновых районах. А что там, в Рязани, Смоленске, Владимире, Вологде? Об этом — ни слова. Будто вымерли земли. И близко к тому было... Голод в тридцать третьем году. Голодные военные годы. Голод в сорок седьмом. Голод в сорок девя-

том. В остальные годы травяных лепешек не пекли, но никогда не ели досыта. И еще в 1963 году в стране были тысячи колхозов, где крестьянин получал за свой труд в течение года 6-7 пудов зерна и 10-15 рублей деньгами¹⁴.

Государство отнимает продукт, произведенный крестьянином в колхозе, но делает это не напрямую, не грубо, не физическим нажимом, который мог бы вызвать нежелательное противодействие, но замаскировано, через систему закупочных цен. Создается видимость, что продукт не отнят, но куплен, а поскольку продукта крестьянин произвел мало, постольку и не заработал ничего — кого же винить?

Финансируя сельскохозяйственное производство, власти принимают позу доброго дядюшки, — исключительная щедрость толкает его оплачивать хозяйство нерентабельное, себя не оправдывающее... Слушайте, слушайте! Возможно ли, чтобы люди признали нерентабельным кормить себя?! Возможно ли где-нибудь еще, чтобы при нехватке мяса, молока, картофеля производство их было нерентабельным?

Весь этот голодный маскарад затеян с одной-единственной целью: скрыть очевидный факт, что значительная часть сельскохозяйственной продукции попросту *отнимается бесплатно*, поскольку существующие цены никоим образом не соответствуют ее реальной общественной стоимости...

Впрочем, предоставим слово специалистам, которые, решая задачи конкретной экономики, волею неволей вынуждены если и не до конца распутывать клубок, то по крайней мере потянуть нитку дальше, чем обычно принято:

„Расчеты, выполненные на базе учета затрат труда в отраслях материального производства и редукации труда на основе различий в общественно необходимых затратах труда на подготовку рабочей силы разной квалификации, показывают, что в сельском хозяйстве в 1969 году было произведено 29,4%, а в 1970 году 28% национального дохода страны... Вместе с тем доля сельского хозяйства в национальном доходе, рассчитанная нами, выше, чем учтенная текущими ценами по действующей методике ЦСУ СССР. Последняя составила в 1969 году 19,5% и в 1970 г. — 21,8%”¹⁵.

То есть, по меньшей мере, стоимости, оцениваемые в 30 миллиардов рублей, отнимаются у сельского хозяйства безвозмездно. Часть из них в демагогической обертке возвращается, но далеко не сполна и далеко не по тем адресам, какие назвали бы заинтересованные потребители товаров, испытывающие нехватку мяса, молочных продуктов, овощей, яиц. Так, в течение многих лет животноводство получало столь мизерный возврат произведенных здесь стоимостей, что их едва хватало даже на простое воспроизводство. В результате и сегодня в стране катастрофическая нехватка мяса, от которой в первую очередь страдают рабочие промышленных предприятий, пролетариат, чьи интересы якобы положены в основу государственной политики.

Но если животноводство недополучает причитающейся ему по законам товарного производства доли продукта, то недополучают ее и крестьяне, занятые в колхозном животноводстве, — система норм и расценок так устроена, что значительная часть общественно-необходимого труда остается неоплаченной.

Можно примерно подсчитать долю необходимого продукта, которая отнимается у крестьянина безвозмездно: подсчитанная разными способами, она составляет от 40 до 60% стоимости воспроизводства рабочей силы со средним уровнем квалифика-

ции. А это значит, что от 60 до 40% необходимого продукта крестьянин должен добирать в своем приусадебном хозяйстве.

Но, оказывается, и этого сказать недостаточно.

„Сравнение фактического минимального уровня доходов колхозной семьи с рассчитанным минимумом материальной обеспеченности показывает, что в 1969-1970 гг. минимальная оплата труда в колхозах с учетом всех других источников семейных доходов (выделено мной. — Л. Т.) обеспечивала воспроизводство рабочей силы на 80-85% от уровня возмещения затрат простого труда в промышленности”¹⁶.

Вот и вспомним те тысячи, которые крестьянин получает, реализуя продукты приусадебного хозяйства, — где они? Их едва хватает взамен тех денег, что недоданы в колхозе, что отняты государством.

Ограбленное таким образом крестьянство, казалось бы, обречено было на деградацию и вымирание. Но инстинкт самосохранения силен. До смерти и котенка утопить не просто, а человек-то, люди, будут сопротивляться до последнего. На это, впрочем, советская экономическая политика и рассчитана... И сопротивлялись, учились жить и с сорока, и с пятнадцати соток, и с пятнадцати метров земли. Выучились. Живут, карабкаются. До цветных шаров в глазах. Лишенные необходимого продукта в колхозе, добывают его в приусадебном хозяйстве.

Но обратим внимание еще и на то, что, ограбив крестьянина в колхозе, выжав из него соки в своем плановом, гласно-социалистическом тоннеле, власти отпускают его на поправку в систему рыночных отношений. Отпускать-то отпускают, но „на поводке”, ограничив экономический маневр целым рядом запретов и „табу”.

Минимальный размер земельного участка и связь его аренды с отработкой в колхозе или совхозе, строгий регламент на фураж, отсутствие рынка сельскохозяйственного инвентаря, запреты на интенсивное использование земли, строгий запрет на частные товарищества и кооперативы — все это не дает крестьянину сделаться независимым хозяином. Этот черный мешок запретов мешает рынку развернуться в полную силу, мешает производству напрямую связаться с потребительским спросом. Черный рынок остается *под рукой* административной власти, которая диктует жесткие условия постоянной эксплуатации крестьянина в колхозе, совхозе и на приусадебном участке.

Но в то же время власти не могут, не хотят, боятся до конца пролетаризировать крестьянина, сделать его лишь наемным рабочим. В конце шестидесятых годов в Латвии местные партийные органы, видимо, сдвинутые несколько в европейскую сторону от центрально-русских методов хозяйствования, распорядились приплачивать колхозникам за отказ от своих участков. Немного, всего по 300-400 рублей в год, но здесь важна не сумма, а тенденция¹⁷.

Вроде бы все логично: колхоз получает дополнительную землю, увеличивает свои доходы и какие-то суммы из них платит тем, кто от этой земли отказался... Но нет, не нужны властям ни эта земля, ни эти доходы, которые, впрочем, будут — не будут, еще не известно. Властям не нужен сельский пролетарий — власть партийной бюрократии не умеет распорядиться его трудом, не умеет создать такие условия труда, чтобы, получая необходимый продукт в виде зарплаты, он произвел достаточное для общества количество прибавочного продукта, — она не умеет ни организовать производство то-

варов, ни торговать, она может только *отнять* уже произведенное. А у пролетария что отнимешь? По крайней мере, куда меньше, чем у крестьянина.

Кроме того, промышленные рабочие обладают неотъемлемыми правами, которые в приложении к крестьянству весьма проблематичны: право на труд, право на отдых, право на жилье. Права, которые гарантируются в том или ином объеме в зависимости от уровня развития производительных сил... И еще, конечно, право на восьмичасовой рабочий день, которое хоть и нарушается сплошь и рядом, но оно все-таки провозглашено, и нужно искать оправдание, чтобы его нарушить. В деревне же таких прав просто нет и быть не может... Крестьянин во многих случаях хотел бы стать пролетарием!

„По материалам социального обследования в колхозах Нечерноземной зоны, затраты времени трудоспособного колхозника в артельном производстве составили 2600 часов, а колхозницы 2380 против 2000 часов оптимально возможного времени в промышленности”¹⁸.

Прибавим сюда примерно 1000 часов, которые затрачиваются каждым колхозником в приусадебном хозяйстве, и мы получим представление о реальных затратах рабочего времени.

Пролетария можно заставить работать и по десять, и по двенадцать, и по четырнадцать часов в сутки, как это и делают на советских промышленных предприятиях в дни ежемесячных, ежеквартальных авралов или в последние месяцы года. Но пролетарию нельзя вообще не дать зарплаты, предлагая кормиться где-нибудь на стороне. Ему помногу добирать нигде, и если бы власти рискнули регулярно оплачивать труд промышленных рабочих лишь на 40-60%, то поставили бы под угрозу само существование государства. Поэтому советская система трудового нормирования и заработ-

ной платы, система ценообразования и распределительная политика советского государства построены таким образом, чтобы рабочий во всех случаях получал свой прожиточный минимум, — даже тогда, когда та или иная отрасль промышленности или строительства нерентабельны и для покрытия дефицита приходится соответствующим образом перераспределять общественный продукт.

Так это, например, происходит с жилищным строительством. Колоссальный дефицит жилья власти пытаются хоть как-то компенсировать в глазах общественного мнения низкой квартплатой, которая далеко не покрывает строительных затрат и, в том числе, затрат на оплату труда строителей. (Правда, недобрали плату за жилище, недодадут в зарплату, снизив расценки, увеличив степень эксплуатации... Государство нам ничего не дает задаром.)

Равнодушие к сельскому работнику даже и запрятно не очень тщательно, настолько оно кажется властям естественным и несправедливым. Ему можно заплатить сколько угодно мало, не считаясь ни с какими общественными нормами. Доберет в приусадебном хозяйстве и на черном рынке, и никакой угрозы для государства и партийной бюрократии от этого нет. Напротив, осуждая на словах рыночные отношения, власти на деле толкают крестьянина на рынок с продуктами приусадебного хозяйства, и именно за счет рыночного оборота удовлетворяется значительная часть общественных потребностей. А иначе где взять? Как сбалансировать потребности и возможности? Как отвести интересы общества от крутого столкновения с интересами партийной бюрократии? Без рынка плановый социализм только в теоретических работах ладно катится, но на практике — заклинивает.

Не знаю, успел ли кто-нибудь в Латвии получить те 300 рублей за отказ от земли, да и нашлись ли вообще желающие продаться таким способом в обельное холопство, но инициаторы мероприятия получили по партийному выговору, и поделом! Не руби сук, на котором сидишь, не предавай своих же интересов: без приусадебного хозяйства, без рынка так заклинит...

Крестьянин вынужден трудиться два рабочих дня ежедневно. Большую часть того, что он зарабатывает в первый день — в колхозе, в системе гласно-социалистической, — у него отнимает государство и распределяет в интересах сохранения существующей системы. Крестьянину не остается ни необходимого продукта, ни права распоряжаться прибавочным.

Тогда начинается второй рабочий день — по законам чернорыночного товарного производства, по законам *негласного* социализма, — рабочий день, во время которого крестьянин пускает в ход весь свой наличный капитал: рабочую силу — свою, оставшуюся от колхозных трудов, и своей семьи. Он сам определяет здесь уровень эксплуатации: минимум — чтобы не голодать, максимум — чтобы не падать с ног от недосыпа, работая с трех утра до десяти вечера. Сам определяет (в рамках дозволенного) характер производства в зависимости от спроса на те или иные продукты.

Как мы знаем, значительная часть продукта приусадебного хозяйства — от 20% до 90% — реализуется. Крестьянин получает тот или иной доход в зависимости от величины дифференциальной ренты. Но рента — часть прибавочной стоимости. Прибавочные стоимости создаются в прибавочное время. Сколь велико оно в приусадебном хозяйстве? Здесь кре-

стьянин сам себе работник, сам себе и „капиталист”.

Весь этот чернорыночный оборот настолько жалок в каждом своем индивидуальном объеме, — эта рента, эта средняя прибыль на капитал, это прибавочное время так потешны кажутся серьезным экономистам, что они не берут на себя труд разобраться в них. А может быть, специально отворачиваются, чтобы не увидеть ту очевидную истину, что социализм-то наш живет за счет чернорыночного „микрокапитализма”.

Но и увидев, стараются сказать помягче, поглаже: мол, „время”, используемое колхозниками в подсобном хозяйстве, нельзя назвать рабочим временем, или вторым рабочим днем. Это — „внерабочее время, обусловленное необходимостью ведения подсобного хозяйства”¹⁹. Внерабочее время, когда добывается половина всего совокупного дохода семьи колхозника. Какая глупость! А ведь между тем мы и питаемся продуктами, которые произведены крестьянином „во внерабочее” время, как бы играючи...

Впрочем, в самое последнее время напористая реальность заставляет повнимательнее приглядеться к деревне и увидеть хотя бы клочки правдивой картины:

„Мы разделяем мнение, что когда личное подсобное хозяйство становится основным источником доходов и оказывается ориентированным, в основном, на рынок, а работа одного из членов семьи в общественном производстве служит лишь средством получения права на ведение такого хозяйства, последнее может рассматриваться как мелкое частное хозяйство”²⁰.

Признаться в существовании мелкого *частного* хозяйства в стране развитого социализма — уже немало. Такое признание не может не заставить пере-

смотреть сверху донизу (или снизу доверху) всю систему экономических связей. Признавшись в существовании 40 миллионов мелких частных хозяйств почти через полвека сплошной коллективизации, нужно признаться и в полной *экономической* неэффективности колхозной системы. Но тут же нужно признаться, что колхозы весьма целесообразны *политически*, поскольку, сосуществуя с мелким частным хозяйством, создают идеальные условия для ограбления крестьянства при помощи *черного рынка*.

Но увы, сделав свое чуть ли не революционное для советской науки „открытие“, социолог после нескольких общих суждений заявляет тут же:

„Оно (то есть крестьянское хозяйство. — Л. Т.) будет сокращаться само по себе добровольным путем по мере развития общественного хозяйства... Обеспечение условий для отмирания этого хозяйства как источника дополнительных доходов позволит ликвидировать наиболее существенные элементы отставания деревни от города”²¹.

И это все?! И это значит — „*может рассматриваться*”? Да не будет приусадебное хозяйство сокращаться ни „добровольным” путем, ни каким иным. Как отмечают более сведущие специалисты, для того, чтобы колхозы и совхозы полностью удовлетворили в 2000 году растущие потребности общества в основных продуктах питания и вытеснили частные хозяйства крестьян и рабочих, производство мяса должно быть увеличено в 4,5 раза, молока — в 3 раза, яиц — в 8 раз.

Да и этого мало. Экономические аргументы здесь не решают дела — столь быстрый рост сельского хозяйства может быть и был бы возможен, если ослабить систему запретов и ограничений, наложенных на хозяйственный маневр. Но нет, — частные крестьянские хозяйства будут жить в их сегодняш-

нем виде до тех пор, пока правящая структура осуществляет свою политику за счет *черного рынка*. А может ли ее политика быть обеспечена каким-либо другим способом — весьма сомнительно, — по крайней мере именно это и должно *рассматриваться*.

Не вина крестьянина, что он обречен вести рыночное хозяйство даже на участке размером с детскую песочницу. А мы, желая понять, в какой стране живем, отворачиваться от его судьбы не вправе. Тем более, что на этих игрушечных участках разворачиваются отнюдь не детские своей жесткостью игры взрослых.

IV

Ни летним вечером, ни в праздники на сельской улице не увидишь играющих в домино взрослых, — вроде тех, что стучат костяшками во всех городских дворах, на скверах и бульварах. В деревне бездельничать стыдно. И даже сами эти городские доминошники, собираясь навестить родные сельские места, не берут с собой настольные игры, но так подгадывают отпуска, чтобы помочь родителям или родственникам в огородных работах весной или на летней сенной страде, или в сентябрьской копке картофеля... А уж сельского-то жителя труды не отпускают круглогодично: ведь на себя работает — если остановится, кто за него сделает? Кто возместит потери, если пропущен срок полива огурцов или окучивания картофеля? Если летом долго спал, — под снегом травы не накопишь. Если гонят стадо, за домино не сядешь — корми, пои, дои, ухаживай.

Механизатор Гаврила Иванович Тюкин по утрам,

пока еще не в колхозе, или вечером, уже вернувшись, упорно добывает то, что не отдано ему при расчете колхозной кассой. С топором ли, с косой ли, с лопатой движется он по дням своим от дела к делу, от заботы к заботе. И не один, за ним — вся семья, а Нюрка, так и впереди его.

Кажется, и детям он заботливый отец — если жена болеет, сам проверит, как в школу собрались, сыты ли, нет ли прорех в одежде. И Нюрке своей — любящий, ласковый муж. И родителям-старикам внимательный сын: из-за них и колхозником после армии сделался, не поехал на стройки коммунизма, пожалел немощных одних оставлять... Но при всем том ни больных стариков, ни жену до последнего дня перед родами, ни детей — никого он не может освободить от постоянного крестьянского труда. Впрочем, пусть бы он освободил, никому из них совесть не позволит отлынивать, когда вся семья в огороде или на сенокосе. А без совестливого участия всех в семье им не свести концы с концами.

Могут ли двое взрослых, работая в колхозе или совхозе, вести приусадебное хозяйство достаточно интенсивно, чтобы прокормить семью в пять-шесть человек? Нет, не могут.

Для того, чтобы получить урожай картофеля с приусадебного участка в 30-40 соток, двое трудоспособных должны ежедневно трудиться полный рабочий день в течение двух месяцев²². Да уход за коровой занимает полтора-два часа ежедневно, и всякая другая живность внимания и времени требует... Но ведь и от работы в колхозе никто не освободит — особенно летом²³. Да в те же летние месяцы и сена надо на зиму добыть, и все остальные заботы остаются. Нет, двоим не хватит ни сил, ни времени. И в больших семьях те, кто зарабатывают право на приусадебное хозяйство — колхозники и

рабочие совхозов — не главные добытчики в своем огороде.

Приусадебное хозяйство — колоссальный комбинат по эксплуатации детей, стариков, инвалидов. Двенадцать миллионов сельских жителей нигде не работают, кроме как в приусадебном хозяйстве, причем из них семь с половиной миллионов — старики и подростки²⁴. Да и остальные миллионы — это, главным образом, люди нетрудоспособные или ограниченной трудоспособности, домохозяйки с большими семьями. Три четверти труда, затраченного в приусадебном хозяйстве, — женский труд. Прибавим еще пятнадцать миллионов сельских ребятешек — число школьников без учащихся начальных классов — и мы получим представление о том, чьими руками создается значительная часть валовой продукции сельского хозяйства, которой в прямом и переносном смысле кормится государство развитого социализма со всем его мощным партийно-государственным и идеологическим аппаратом²⁵.

Факт эксплуатации неработоспособного населения, который замалчивается экономистами и социологами, вдруг просвечивает сквозь писания юристов, которые обязаны точно определить правовую сторону взаимоотношений в сельской семье:

„Семья колхозника в отличие от обычной семьи рабочего или служащего имеет определенные особенности, выражающиеся в том, что это не только родственный, семейно-брачный союз определенных лиц, (...) но такое семейное объединение лиц, которое имеет еще и определенные трудовые связи данных лиц между собой, возникающие у них, в силу совместного ведения ими личного подсобного хозяйства”²⁶.

Можно и нужно бы сказать еще точнее: семья колхозника — микрокапиталистическое предприя-

тие, где глава семьи вынужден эксплуатировать труд своих домочадцев, чтобы получить в приусадебном хозяйстве максимум прибавочной стоимости и таким образом возместить недополученный ими в колхозе или совхозе необходимый продукт.

Ведется эта эксплуатация, как правило, совершенно варварскими методами, без какого бы то ни было облегчения труда, без механизмов, без применения современных достижений агрономии и зоотехники. Лопата, тачка, мешок, корзина — почти весь инвентарь. В лучшем случае весной за две-три бутылки водки колхозный тракторист вспашет и проборонует участок, — остальное руками.

Один велеречивый партийный болтун заявил:

„Хозяйственные функции сельской семьи в советское время в корне изменились. Отпала главная забота — о средствах производства, о лошади, о сохранении плодородия...”²⁷.

Ну да, забота о лошади отпала — на себе возят. Еще в тридцатые годы был выдвинут лозунг: „Лошадь — угроза социализму”. Ползая по земле на карачках, по-лошадиному таская на себе грузы, сельские бабы социализму не угрожают, все верно.

Государство давным-давно закрыло глаза на то, каким способом крестьянин добывает себе пропитание, сколь тяжело надрывается при этом.

Беда ли, — заводы

„делают лопаты на целый килограмм тяжелее положенного. Грабли тоже слишком тяжелы... Совсем не делают инструмента для подростков, пожилых людей”²⁸.

Какая страшная картина: на 2/100 всех площадей пахотной земли дети, инвалиды, старики, женщины

с лопатами и граблями не по силам дают продукта чуть не столько же, сколько здоровые, крепкие люди во всеоружии современной техники получают с остальных 98/100! Какой тяжелый порок скрыт в этих газетных признаниях!

Правда, в последние годы в пригородных зонах увеличилось число приусадебных хозяйств, ведущих интенсивный откорм скота, умножились парники и теплицы. Возможность получить относительно высокую прибыль заставляет этих микрокапиталистов думать хотя бы о механизации: переделывать домашние пылесосы в огородные опрыскиватели, миксеры приспособливать для сбора крыжовника, изобретать оборудование для выращивания тюльпанов зимой.

Но в массе своей приусадебное хозяйство остается традиционно рутинным. Да и не может быть иначе: на малых земельных площадях, при полном отсутствии техники, приспособленной для ведения столь мелкого хозяйства, есть лишь один способ произвести побольше продукта: увеличить количество затраченного живого труда. За счет занятых в колхозе взрослых ничего не увеличишь — упадут. Значит, побольше работать приходится многодетным женщинам, старикам, инвалидам, детям.

Конечно, никакого разделения труда, никакой кооперации, увеличивающей его производительность, здесь нет и быть не может. Приусадебный участок — не землевладение и даже не свободная аренда. Право крестьянина на приусадебный участок предусматривает обработку земли лишь семьей самого крестьянина. Облегчить труд семьи можно только прибегнув к супруге — простой взаимопомощи двух-трех колхозных дворов по принципу: ты — мне, я тебе. Так малосемейные копают кар-

тошку. Так в некоторых районах ведут простейшее индивидуальное строительство.

Но объединение тех же двух-трех крестьянских дворов для более рационального, более интенсивного *рыночного* хозяйства невозможно — строжайшее „табу"! При рациональном разделении труда, при интенсивном ведении хозяйства, ориентированного на рынок, *капиталистический* характер такого объединения был бы ярко выражен и можно обойтись уже без приставки „микро". Если придавленные запретами нынешние приусадебные хозяйства успешно конкурируют с колхозами и совхозами, надо ли говорить, что даже элементарное объединение независимых крестьянских хозяйств с гектаром-двумя земли и простейшими механизмами показало бы полную экономическую бессмысленность сегодняшних колхозов. Понятно, что власти на такое не пойдут. Власть партийной бюрократии никогда не признает достаточным основанием для дальнейшей капитализации приусадебного хозяйства даже увеличение продуктов питания вдвое или втрое против сегодняшнего. И понять политический смысл запретов несложно: сохраняя полуголодный, но гарантирующий безоговорочную власть партийной бюрократии „зрелый социализм", сохраняя черный рынок, они не дают развиваться открытым рыночным отношениям, при которых нужда во всякой административной власти весьма ограничена.

Вообще всякое *добровольное*, независимое от существующей администрации колхозов и совхозов объединение частных лиц в советской деревне невозможно — ни на капиталистической рыночной основе, ни на *основе коммунистической*. В стране, провозгласившей построение первой фазы коммунистического общества, *коммун*ы-то как раз

и запрещены. Они существовали еще при царе и в первые годы советской власти, но с началом коллективизации исчезли. Похоронил их лично Сталин:

„Лишь по мере укрепления и упрочения сельскохозяйственных артелей может создаваться почва для массового движения крестьян в сторону коммуны. Но это будет не скоро. Поэтому коммуна, представляющая высшую форму, может стать главным звеном колхозного движения лишь в будущем”²⁹.

Ему неважно было, куда отправлять свои жертвы — в прошлое или в будущее, — лишь бы в небытие, лишь бы не мешались под руками в настоящем.

Коммуны создавались людьми, религиозно преданными коммунистической идее. Такие сплоченные, убежденные коллективы могли оказывать и оказывали серьезное сопротивление советской политике крепостного закабаления крестьянства.

„В известной части коммун проявилась антигосударственная практика, выразившаяся в противопоставлении интересов коммуны интересам государства (чрезмерное увеличение потребительских нужд коммуны, уменьшение товарности и т. д.)”³⁰.

Вот оно в чем дело! Коммунары не хотели становиться рабочим скотом, несущим тягло под понукание партийной бюрократии, скотом со скотским уровнем потребностей. И тогда их перевели на Устав сельхозартели. И тогда их заставили гнать на работу своих детей и стариков...³¹

Впрочем, эксплуатация крестьянской семьи как единого хозяйственного организма оказалась такой удобной, что в последнее время широко применяется не только опосредствованно, через главу семьи, в приусадебном хозяйстве, — но и непосредственно, в колхозном поле. Например, в Чувашии (это я видел в Чувашии, а знающие люди подсказывают, что едва ли не повсеместно) картофельные поля разбиваются на делянки, и каждая крестьянская

семья в зависимости от числа наличных душ должна выбрать картофель с большей или меньшей площади. Только исполнение этих барщинных работ (без освобождения от иных, само собой разумеющихся) дает право на покупку в колхозе кормов для личного скота и на бесконфликтное пользование приусадебной землей.

Количество наличных душ в семье учитывается по прямому, мистическому значению слова, поскольку важно одно: чтобы душа в теле держалась. Освобождаются лишь парализованные. По крайней мере в чувашском колхозе „Канашский” семья слепого (он да жена) никаких льгот в этой трудовой разверстке не получила... Заметим, что колхоз этот — среди „маяков” республики. С газетных и журнальных страниц нам его подают как достижение социализма — в каждой области таких лишь пять-шесть хозяйств. Сюда журналистов возят. Механизаторы и доярки получают здесь больше, чем в соседних хозяйствах. Но кто же разберется внимательно, что кроется за плакатными улыбками, — чьи незамеченные труды, чьи слезы?

Председатель колхоза „Канашский” — крепкий хозяин, заслуженный агроном, кавалер орденов Ленина и Октябрьской революции, автор книги „Земля и урожай”. Надо полагать, не он придумал эту систему, но с успехом пользуется ею именно он. Много ли их, таких просвещенных крепостников? Надо бы, чтобы страна знала каждого из них — может, тогда постыдятся? Да постыдятся ли? Им райком грехи отпустит...

В иных местах так убирают сахарную свеклу, кормовые культуры. И нам здесь важно заметить, что столь дикая форма отработки не может привлечь крестьян даже видимостью прямого материального интереса — это лишь форма ужесточения

условий, на которых предоставляется право на приусадебное хозяйство.

При такой организации труда действуют психологические факторы, хорошо известные еще Марксу, а по его словам, и еще раньше — Фурье:

„ ... Женщины хорошо работают только под диктатурой мужчин, но... с другой стороны, женщины и дети, раз они принялись за работу, с величайшей рьяностью расходуют свои жизненные силы (...) между тем как взрослый работник мужчина настолько коварен, что старается по возможности экономить свои силы”³².

В республиках Средней Азии школьник двенадцати-четырнадцати лет (почему-то чаще я встречал именно школьник) заставляют тяжелым кетменем — на килограмм, на два ли тяжелее нормы? — рыхлить землю колхозного хлопчатника. По многу часов, на солнцепеке — вместо уроков, а иногда и после уроков. Эта работа, пожалуй, даже тяжелее, чем выборка картофеля из осенней грязи, столь хорошо знакомая среднерусским школьникам.

В Гатях — среднерусской деревне, где жила и похоронена наша Акси́нья Егоровна, одна из учительниц местной восьмилетки усомнилась, надо ли включать в программу уроки сельского труда? Ей показалось, что дети и без того знают предмет очень хорошо. Она анкетами опросила школьников и анкеты отослала своему наробразовскому начальству. Все дети ответили, что на уборке урожая картофеля они работают *трижды*: раз — дома, два — на колхозном поле с семьей, три — на колхозном поле со школой; на сенокосе — *дважды*: сначала с семьей в лесхозе или в другой организации, у которой есть угодья и можно заработать копейку-другую, потом — в колхозе за „десятый процент”, то есть за право получить 1/10 часть убранного се-

на; кроме того, конечно, все иные работы — весной, летом, осенью на приусадебном участке, и круглогодично — уход за скотиной (последнее — не все, главным образом девочки).

Начальство внимательно изучило анкеты, но уроки сельского труда велело начать. Не потому, что нужны, а потому, что с них, с начальства, еще начальство повыше спрашивает. А то — самое высокое начальство, одержимое исключительно гуманными соображениями, — издавало приказы, запрещающие детский труд в поле. И теперь все в том же перманентном порыве гуманности заботится, как бы сельские ребята не обленились, не выросли бы белоручками.

Но министерские чиновники — далеко и высоко, а районные партийные и хозяйственные — близко. И без детских рук им урожай не выбрать, землю не взрыхлить, веточного корма не наготовить. Знают ли об этом чиновники министерские, издавшие гуманные приказы? Да конечно знают! Но их чиновничье дело — издавать гуманные приказы. А дело наробразовских районных чиновников — исполнять все приказы: и из Москвы, и из райкома партии. И в результате крестьянский ребенок, трижды уже отработавший в разных местах, трижды эксплуатируемый, работает в четвертый раз *на уроке* труда. На этот раз его эксплуатирует гуманное педагогическое начальство, которое имеет свои дивиденды не в виде сданного картофеля и галочки в хозяйственном плане, но в виде галочки в плане педагогическом.

Экономическая необходимость работать в приусадебном хозяйстве существует многие годы, формируя нравственную атмосферу сельской жизни, и, наконец, закрепляется в обычае, в нравственном императиве. А обычай уже в свою очередь

требует от человека определенного действия, эксплуатирует его нравственную податливость. А в конечном счете — все то же: эксплуатируется труд.

Уже знакомая нам учительница в Гатях как-то жаловалась, что каждую весну и осень, когда начинаются огородные работы, на нее наваливаются огромные трудности: не хватает времени, не остается сил и желания нету сажать и копать картошку. В семье у них только двое — она и муж. Оба по двадцать пять лет работают в школе. Оба отдают школе всю душу и все время. Картофельный огород им совершенно не нужен, — они зарабатывают достаточно, чтобы покупать продукты... Но тем не менее каждый год сажают картошку, потом ее окучивают, потом выкапывают. И делают это только потому, что *все в деревне* так делают. Попробуй они отказаться от своего огорода, и в деревне это воспримут не иначе как чудачество, а еще хуже — как высокомерие: „Что вы, можно ли добровольно отказаться от земли!?” В деревне не принято покупать картошку, если ее можно вырастить. В деревне нельзя не жить, как все... даже если думаешь по-своему. Всеобщность экономическая создает нравственную всеобщность. Существующие порядки кажутся уже естественными и единственно возможными.

Но все-таки экономический императив пока более важен: большинство учителей не имеет возможности купить какие бы то ни было продукты в колхозе или у односельчан, которые, специализируясь на одной товарной культуре, остальные производят лишь для личного потребления. И вынуждены учителя вести свое хозяйство точно так же, как и крестьяне. Специалистов сельского хозяйства — агрономов, зоотехников, инженеров — продовольствен-

ная нужда задевает в меньшей мере, но все-таки и они задеты:

„Так в своеобразных условиях овцеводческих совхозов Казахстана, удаленных от крупных городов, железнодорожных станций, в районах малой плотности населения ведение личного хозяйства особенно необходимо... При анкетном опросе 12-ти хозяйств выяснилось, что в них все семьи специалистов держат коров, овец, в некоторых, кроме того, верблюдов и кумысных кобыл”³³.

Обстоятельства заставляют. Обстоятельства формируют образ жизни. Образ действий. Образ мышления. Люди не рождаются рабами. Подчинение всеобщности, подчинение глухой необходимости начинается лишь в школьные годы — да и то не сразу. Пока учатся писать, у каждого свой почерк прорезывается. Но со второго класса дети начинают просить в школьной библиотеке „что-нибудь о Ленине — потому что велели прочитать”. Так начинается всеобщий почерк мышления. Он закрепляется всеобщей трудовой повинностью: с четвертого класса выходят в колхозное поле и в свой огород. Слово и дело взаимно дополняются, служа одно другому. Формируется человек... И над его-то собственным словом затоскуешь до крика...

Из домашнего задания ученика 5-6 класса гатинской восьмилетней школы Галкина Григория:

„Письмо другу

Дорогой друг мой Вася!

Я тебе опишу про свой выходной день. Встал я рано, умылся, оделся и помог маме прибрать постели. Потом стал завтракать, позавтракал, и пошли мы копать картошку. Я копал, а сестра выбирала картошку. Было холодно. Немножко замерзла сестра, да, и я замерз. Покопались мы. И устали, отдохнули. И стали копать картошку. Мы разогрелись. Вдруг шумит мама: „Идите обедать!” И мы пошли. Пообедали. Пошли рыть картошку. А с обеда время летело быстро. И вот уже подошел вечер. Мы поели. И легли спать.

Вот мой прошел день. Вася, опиши ты про свой день.
Твой друг Гриня”.

В детстве я скандировал вместе со своими ровесниками: „Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство”. Кого должны благодарить сегодняшние сельские ребятишки?

V

— Спасибо Ленину, — сказала как-то Акусья Егорьевна, разглядывая его портрет в районной газете, — лицо-то доброе, позаботился о нас...

В другой раз я уже без удивления наблюдал, как в новом здании сельсовета она в пояс поклонилась тому же портрету:

— Царство тебе небесное... Жизнь-то какую дал — и пенсия, и огород, и в магазине чай да сахар — помирать жалко...

Все хорошо знают, что сегодняшнюю жизнь дал нам Ленин. По его заветам живем. И все видят, что сегодняшняя жизнь крестьянина несравненно лучше той, что осталась в тридцатых, сороковых, пятидесятых. Работается трудно? Так ведь и тогда работалось, а жилось хуже. Кто же не помнит, как худо жили еще в начале шестидесятых, когда и в колхозе не платили, и приусадебные хозяйства прижали?

А теперь?.. Мы давно уже забыли, как крестьянин *может* жить, но хорошо помним, что еще недавно он жил так, как жить нельзя, как жить *невозможно*. Из народного сознания давно утратилась память о жизни при нэпе или, тем более, о дореволюционных временах, — правда под запретом, а ложь безразлична, — но хорошо помнится колхозная каторга в ее худшие годы. От тех мертвых точек и идет отсчет

благополучия. Лишенный истории, лишенный опыта предков и знания того, как он мог бы жить, крестьянин оценивает нынешние дни свои, сравнивая их лишь с худшими днями своей же жизни: „Ничего, дышим!”

Мы же, горожане, оцениваем жизнь крестьянина и вовсе исходя из представлений, навязанных нам газетами, журналами и бдительно отснятыми и тщательно смонтированными телефильмами. Да еще по базарным впечатлениям: „На Черемушкинском рынке телятину по семи рублей продают! Обнагтели колхозники. Куда же они деньги девают?!” И снова вспоминается тот послевоенный мешок денег, потрясший мое детское воображение. Уж теперь-то в этом мешке и точно сто тысяч.

Кто же не замечает: жить стало легче, ослабили петлю — сегодня не продувной голод, по городам крестьяне не побираются, с голоду не пухнут и даже на одной картошке не сидят подолгу... однако, взгляды в сегодняшнюю крестьянскую сытость, в быт крестьянина, в его траты и сбережения. Зная, каковы крестьянские труды, посмотрим, велик ли запас накопился трудами этими?

Запасают деньги — не мешок, конечно, но случись что, на первый момент хватит. Запасают зерно — хлебом-то начали торговать в деревне всего лет десять назад, а возникнут трудности, кого в первую очередь прижмут? Крестьянина. А хлеб да картошка — главная еда... Запасают шифер... когда крыша прохудится, его сразу и не найдешь... Наша Аксинья Егорьевна держала про запас бочонок соли. Зачем? Не знаю. Уж что-что, а соль-то всегда есть в продаже. Может быть, в войну насиделись без соли? Как-то неловко было спрашивать, да она и не стала бы рассказывать о своих запасах — отговорилась бы как-нибудь. Без соли нельзя. Городская семья, если

и квасит капусту, если и солит огурцы, то лишь для особого удовольствия, поскольку домашнее лучше покупного. Крестьянин ничего такого купить не может. Если не сделает дома, — будет без солений, а без них и вечная картошка в горло не полезет...

Горожанин купит подушку в магазине. Крестьянин будет по пушинке собирать ее годы. И чем бережливее хозяйка, тем тяжелее ее подушки и перины... Но на все это нужно время и силы, время и силы.

Домашнее хозяйство, домашняя промышленность — неотъемлемое продолжение приусадебного хозяйства. Без этих трудов не прожить, а времени они занимают — особенно у женщин — не меньше, чем огород и скотина: в среднем по три часа в день... Где же силы берутся?³⁴

Крестьянин жив постольку, поскольку ведет свое приусадебное хозяйство. Засуха — его *личная* беда, и тут хоть по былинке, а кормов скоту где-то набрать надо... Колорадский жук, завезенный нерадивыми чиновниками из Польши с импортным семенным картофелем — его *личная* беда, ползай на карачках, собирай в банку с керосином. Болезнь скотины — его *личная* беда, и если гибнет годовалый бычок, готовый на продажу, по нему в голос причитают — так, что встревожишься, не умер ли кто из близких?

От всех неожиданностей не застрахуешься, но хоть небольшой запасец, а нужно бы иметь во всем.

Хуже всего крестьянину, когда сам заболел. В своем хозяйстве кому бюллетень предъявить? Колхозные гроши, конечно, получишь — и за них спасибо, до 1964 года вообще ничего не давали. Но если колхозного заработка и целиком мало, что там про-

центы по бюллетеню! Свое добирать и больному приходится.

Аксинья Егорьевна давно как-то жаловалась: так болела, так болела, что и *лежать больно было*, а позвали в лесхоз — косить по болоту, две копейки зарабатывать — не просто пошла, побежала. Знакомому леснику бутылку купила — спасибо, что позвал. Зимой хоть и здоровая будешь, а сена-то где возьмешь?

Пенсия по старости — двадцать рублей. На двадцать рублей и голодая не проживешь. Но зато, как милость, шестидесятилетней старухе оставляют приусадебный участок: пользуйся, старая, ломай спину, авось, еще заработаешь. Да и стране твоя картошка необходима, без твоих трудов не обойтись. Социалистическое отечество в голодной опасности. Если нет сил самой обрабатывать землю — зови своих детей-горожан. Они возьмут отпуска, или отгулы, или так прогуляют, но картошка важна и им, — приедут, помогут. Да и сама, конечно, не станешь сидеть сложа руки.

Если кому-то затмило, и не видит он, что крестьянин работает *два рабочих дня* ежесуточно — в колхозе и в своем приусадебном участке, пусть посмотрит он на сельских стариков: им остался один рабочий день, но лишь потому, что колхозная барщина отпустила их.

Власть равнодушна к судьбе сельских стариков, и они это знают. Но сам о себе кто не подумает? В старость и в болезнь заглядывать боязно — очень уж страшные лики оттуда смотрят. Пока можно, все хотелось бы лишнюю десятку отложить, застраховаться. Так что крестьянский мешок с деньгами очень похож на нищенскую суму, и не сто тысяч в нем, а пропитание на черный день. Для того, чтобы в такой мешок собрать самое необходимое, крестья-

нин должен сократить и без того скудное ежедневное потребление, урезать потребности семьи до первобытного уровня³⁵.

Я понимаю: сказать „крестьянин должен сократить потребности” — неточно. На потребности волевым актом не подействуешь, и если Аксинья Егорьевна говорила, что не знает вкус в чае, то она в нем и потребности не испытывала. Но здесь нам терминологические тонкости не важны... Вкус мяса, конечно, все знают, но даже по официальной статистике на душу сельского населения приходится в день чуть более ста граммов мяса и сала. Если же учесть, что от потребления сливочного масла крестьянин дальше, чем Аксинья Егорьевна от чая, если учесть, говоря неловко, но лаконично, что сало — „основные жиры” в крестьянском рационе, на нем жарят картошку, с ним варят щи; что же касается мяса, то если во время четырех-пяти праздничных застолий его съедается намного более ста граммов, то от куска для ежедневного потребления ничего не остается. Впрочем, был ли он, этот кусок?

Официальная статистика, кажется, существует с единственной целью: поглубже запрячь истину. Очень помогает в этом разделение крестьян на колхозников и рабочих совхозов, поскольку вторых можно учесть среди городских рабочих и служащих. Скажем, учитывается потребление мяса и сала на душу населения. Показано: в семьях рабочих и служащих — 51 кг, в семьях колхозников — 37 кг. Но в первую группу входят рабочие совхозов, потребляющие не больше колхозников, и партийные и крупные хозяйственные чиновники, чье продовольственное потребление ограничено лишь физиологическими возможностями. Показатель по группе снижается. Разрыв между различными группами

населения не так зияет. А средняя цифра по стране остается без изменений: „Что поделаешь, у нас пока нет изобилия, всем одинаково трудно...”

Но и этого оказалось мало: в последние годы даже и колхозников перестали выделять в статистике продовольственного потребления. Есть общая цифра — в 1977 году, например, показано 57 кг на душу населения мяса и субпродуктов, — и предполагается, что колхозник и начальник сельхозуправления едят одинаково.

Какой изощренный негодяй дал название ресторану, поставленному среди подмосковных дач крупнейших партийных чиновников: „Русская изба”? Да был ли он когда-нибудь в русской избе? Не в барской ли усадьбе так жрут?

По нормам, разработанным Институтом питания Академии медицинских наук, для поддержания нормальной жизнедеятельности взрослый человек должен потреблять в среднем 81 килограмм мяса и сала в год. В длинном списке продуктов этого идеального рациона лишь картофель и хлеб потребляются крестьянином сверх нормы. Хотя, впрочем, и потребление советских горожан — даже учтенное по методике ЦСУ — сильно не дотягивает до нормы...

Мясо в деревне не только не едят каждый день, но и не каждую неделю появляется оно в рационе крестьянской семьи. Крестьянин и его семья *должны* обходиться без мяса, *должны* утолять голод картошкой и хлебом, *должны* потому, что поставлены в такие условия, когда *никак иначе не могут* удовлетворить самые элементарные потребности в одежде, жилье и т. д., как только за счет точно таких же элементарных потребностей в калорийной белковой пище.

Нехватка мяса и белков особенно сказывается на

развитии детей и подростков. Школьники-подростки в сельской местности на 10-20 см ниже ростом, чем городские школьники. Исследования разницы умственного развития нигде не опубликованы, да и вряд ли проводились из страха, что реальность заведомо не соответствует пропагандистской болтовне. Однако как косвенное свидетельство нарушения умственного развития можно отметить тот факт, что среди сельских юношей 15-19 лет смертность от психических расстройств в 3 раза чаще, чем среди их сверстников-горожан³⁶. Это — психические расстройства, доводящие до смерти. А не до смерти — сколько? Сколько даже не до такой степени, чтобы обратиться к врачу и быть взятому на позорный (в крестьянском сознании — чуть не равный смерти) учет в психдиспансере?³⁷

Содержание даже самых нормальных, настоятельных потребностей, воспитанных всей нищенской жизнью крестьянина, чрезвычайно бедно, уровень запросов низок, — самый низкий по сравнению с любыми другими слоями общества.

Скажем, городская семья потребляет 150 ведер* воды ежедневно. Попробуйте на два дня прекратить подачу воды в городской дом и предложить его жильцам ведрами носить воду из соседнего. Это невозможно. Протест едва ли не примет политический характер. Между тем, каждая вторая крестьянская семья таскает воду более чем за сто метров, а некоторые — каждая десятая семья — более чем за полкилометра. На себе, конечно, таскают: спасибо властям, крестьянину не надо заботиться о лошади, да и угрозы зрелому социализму никакой нет³⁸.

* Вероятно, автор описался, и вместо „ведер” следует читать „литров” — Р е д.

„Согласно данным сельских советов, только 17% обследованных населенных пунктов располагают водой хорошего качества, в 70% вода была удовлетворительной, а в 13% — засоленной или загрязненной”³⁹.

Что такое „удовлетворительная” вода из сельского колодца, знает всякий, кто хоть раз бывал в деревне — мутная взвесь, которая оставляет на дне ведра на палец грязноватого осадка. Но этой хоть дай отстояться — и пей. А „загрязненную и засоленную” не выпаришь и не профильтруешь — так и пьют. Не то чтобы привыкли, кто к „удовлетворительной”, а кто к соленой — просто в большинстве случаев иной не знали.

И никакая санитарная инспекция не в силах решить водную проблему. Санитарный врач может закрыть колодец и оставить деревню совсем без воды. Но он не в силах заставить выкопать новые колодцы, пробурить артезианские скважины — нет средств, некому строить колодцы, да и желания нет у местных властей заниматься таким строительством. Большинство колодцев в среднерусских деревнях построено еще в прошлом веке — и с тех пор гигиена пользования ими ничуть не улучшилась — разве лишь срубы несколько раз обновлялись. С местных властей не требуют ни снизу — крестьяне „не знают вкуса” чистой воды, ни сверху — чиновникам районного масштаба, а тем более областного или столичного, и вовсе нет нужды беспокоиться о деревенских колодцах. Они и средства выделять не торопятся...

Везет лишь тем селам, где построены большие скотоводческие фермы. Тут обычно бурится артезианская скважина, — скотина получает воду под нос, в автопоилки — за это с руководителей спрашивают — человек берет из уличного гидранта. И ничего, что вода не приблизилась — хорошо хоть чище стала, хоть не лазают в нее каждый со своим

ведром. Вот как удачно бывает, когда личные интересы совпадают с интересами общественными (с интересами колхозной скотины)...

Организация медицинской помощи в сельской местности заслуживает отдельного исследования. Но, по крайней мере, очевидно, что чем дальше от больницы, то есть чем дальше от крупного села или районного центра, тем меньше возможность получить своевременно помощь квалифицированного врача. И хотя смертность в сельской местности значительно выше, чем в городе, крестьяне обращаются к врачу в два-три раза реже, чем горожане...⁴⁰. Однако в мелких поселках, наиболее удаленных от больницы, людей, недовольных медицинской помощью, как раз *меньше*, чем в крупных селах⁴¹. Парадокс потребностей?

Когда Аксинья Егорьевна болела так, что „ей лежать было больно“, она ведь не к врачу отправилась за пятнадцать километров да на попутной машине (если, конечно, посадит, а нет — пешком), но в противоположную сторону и тоже за пятнадцать километров, в болото, косить... Визит к врачу занимает весь день, а если не повезет, то и с ночевкой застрянешь. Когда нужны анализы или исследования — уйдет неделя. Кто из крестьян позволит себе такую „бесплатную“ медицинскую помощь, особенно летом? Да она дороже обойдется, чем недельное содержание личного врача, коль такое возможно было бы.

Аксинье Егорьевне и в голову никогда не приходило, что врач может прийти на дом. Разве что ветеринарный врач — за трешницу либо за бутылку — к заболевшему парасуку. А себе-то она и девчонку-фельдшера ни разу не позвала, — в последнюю зиму, уже помирала, а все на другой конец деревни брела, в медпункт. И только за неделю до конца, когда

совсем слегла, с благодарностью, хотя уже и обесиленным шепотом, встречала фельдшерицу, приходившую колоть морфий... Ей ли, Аксинье Егорьевне нашей, было жаловаться на плохую медицинскую помощь...

Да если и доберется крестьянин до районного города, до больницы, как-то еще его там встретят? Реальное состояние медицинского обслуживания — запретная тема. Но все-таки вот нечаянное свидетельство в журнале „Работница” (№ 5, 1977) :

„ПОМОЩЬ ОКАЗАНА. Л. В. Неструева из г. Алги, Актюбинской области написала в редакцию письмо о плохих санитарных условиях в местном родильном доме и о невнимательном отношении медицинского персонала к больным...

Как сообщила редакция заместитель министра здравоохранения СССР В. Ч. Новикова, приведенные в письме факты о недостатках в организации родильного отделения больницы г. Алги в основном подтвердились. По результатам расследования жалобы приняты следующие меры: родильное отделение г. Алги, Актюбинской области, переведено в новое помещение, обеспечено горячей водой, необходимым инвентарем; установлено круглосуточное дежурство врачей — акушеров-гинекологов; усилен контроль за санитарно-эпидемиологическим режимом родильного отделения. Л. В. Неструевой оказана высококвалифицированная медицинская помощь”.

Сколько же времени принимали они — в самой передовой стране мира — роды без горячей воды, без необходимого инвентаря, а по ночам и без акушеров? Много ли таких больниц и родильных домов? Едва ли не все. По крайней мере, я сам слышал, как женщина, плача от обиды, рассказывала, как в одном из московских родильных домов ночью едва не родила ребенка в унитаз, не умея докричаться до уснувших сиделок. Так что вряд ли долго продержится в больнице г. Алги „санитарно-эпидемиологический режим” после того, как сто-

личное внимание проскользнет мимо. Одна отчаянная пожаловалась — „на сигнал отреагировали”, а многие ли знают, что можно и должно иначе — рожать, жить, умирать?..

Аксинья Егорьевна вообще никогда никому ни на что не жаловалась. Для того, чтобы пожаловаться, нужно осознать себя отдельной, особенной личностью, субъектом права. Реальное право рождает потребность так же, как и настоятельная потребность вынуждает искать права. А какие права знала за собой Аксинья Егорьевна? Никаких. Разве что право на свой приусадебный клочок земли — да и то лишь в ответ на обязанность работать в колхозе. И в старости — право на двадцать рублей пенсии. Все. Эти права незыблемы. Остальные, напротив, очень и очень зыбки. Для крестьянина ведь кодекс законов заменяется сельским обычаем: „Не хуже людей живем, — и ладно”.

Ровесница нашей Аксиньи Егорьевны, крестьянка подмосковного села Уборы Клавдия Васильевна Юдакова, в течение многих лет, работая в колхозе, подрабатывала уборщицей в клубе, получая за то десять рублей в месяц, — деньги, конечно, ничтожные, но когда без мужа растишь четырех девочек, каждому рублю рада. Когда же пришел срок рассчитывать пенсию, оказалось, что ставка уборщицы по меньшей мере *на тридцать рублей больше*. Значит, ежемесячно у Клавдии Васильевны воровали тридцать рублей. Председатель сельского совета воровал... Но нет, Клавдия Васильевна не пошла жаловаться, не стала искать своих денег, заработанных из последних сил. Спасибо, хоть пенсию от полной суммы начислили. А с начальством лучше не связываться, прав не будешь.

Я не стал бы пересказывать здесь эту историю, слышанную мной от самой Клавдии Васильевны, —

она достаточно ординарна, — и если задаться целью, то подобных историй можно было бы насобирать не один том, — мало ли самого дикого средневекового бесправия на необъятных просторах нашей Родины? Но село Уборы-то, — оно отнюдь не затеряно в просторах, но находится в получасе езды от столицы и между двумя самыми привилегированными санаториями страны, между „Соснами” и „Барвихой”, к которым без пропуска и подойти-то близко не пускают, чтобы не нарушил кто ненароком покой членов ЦК партии, там отдыхающих.

На том бы и закончить историю о Клавдии Васильевне, если бы не фантастический случай; в „Соснах” отдыхал как-то сам Косыгин и, гуляя, вышел за территорию, оказался в Уборах и встретился с Клавдией Васильевной, которая как раз в те дни переживала раскрывшийся обман. Разговорились. („Я-то с нашими старухами была, а с ним еще какой-то мужчина”). Думаете, пожаловалась? Нет, и в голову не пришло. В сельском обычае — скромность... О чем же говорили-то? *Он их спрашивал, отчего это у молодежи вошло в обычай бежать из села?* Он, видите ли, понять совершенно не может...

Обычай — банк крестьянских потребностей. Но банк с весьма ограниченным капиталом. Крестьянская семья может годами пить тухлую колодезную воду, и никто не пожалуется, никто не вспомнит о своих правах на элементарные бытовые услуги: *все* такую пьют. *Все* едят мясо лишь по праздникам. *Никто* не помнит, чтобы врач посетил больного. Какие же могут быть претензии? Откуда же взяться потребностям?

Современный крестьянин время от времени слушает радио, смотрит телевизор, иногда бывает в кино, читает или хотя бы просматривает ту или иную газету. Но все красивые, справедливые быто-

вые, нравственные и административные нормы, которые приходят к нему по этим каналам, — лишь к сведению. В повседневной жизни руководствоваться ими невозможно.

Как бы сытно и разнообразно ни ели герои телевизора, — все эти посетители „Русской избы”, — зрителю-то больше, чем он обычно ест, больше, чем едят его соседи, а значит, больше и лучше, чем все едят, взять негде... Как бы ни были демократичны отношения между начальством и рабочими в кинофильмах, все же понимают, что это так, игра, для времяпрепровождения, а на самом деле-то к председателю колхоза со своими нуждами не подступись, — он тебя в упор не увидит, ему некогда, его в райкоме ждут. А возвысишь голос до протеста, — он тебя размажет между ладоней: его, уверенного хозяйственника, райкомовского тиуна и ключника, дающего план, никто не тронет, разве что пожурят за неумение заткнуть рот недовольному. Сам же недовольный увидит врагом могущественного наместника государственной власти... Да нет, до вражды редко кто доходит, разве что самые отчаянные или отчаявшиеся. Такая вражда кончается в лучшем случае тем, что прижмут крестьянина так, что не вздохнет, пока не покается, а в худшем — придется ему проститься с родными местами: примерно пятеро в каждой сотне взрослых мигрантов из села — бегут от гнева начальства...⁴². В руках у председателя и право урезать приусадебную землю, и возможность обделить кормами для скота и много, много иных способов сделать жизнь крестьянина невозможной. Впрочем, крестьянин редко выходит за рамки обычая, а спорить с начальством, искать прав, — конечно, вне обычая.

Обычай не обязательно напрямую эксплуатирует свою жертву, как он эксплуатирует нашу знакомую

учительницу, заставляя ее выращивать ненужный картофель. Чаще обычай сказывается в активизации или угнетении тех или иных потребностей. А уж настоятельные потребности заставляют крестьянина искать дополнительного заработка. Но где же его найти, как не в собственном приусадебном хозяйстве?

В огуречном селе Посады, где живет механизатор Гавря Тюкин, в обычае строить большие каменные дома: видом этого села, с его сверкающими оцинкованными крышами, мы уже имели возможность любоваться на страницах нашего очерка. Дома и впрямь неплохи — особенно радуют глаз приезжего неожиданные для сельской постройки огромные дачные террасы. Но такая терраса не каждой семье по карману, да и совершенно бессмысленна она по крайней мере десять месяцев в году. Но строят и долго еще будут строить именно так. Будут надрываться, искать исчезнувшее в последние годы из продажи цветное стекло, откажут себе в последнем, но построят свой дом, *как все строят*.

Гавря Тюкин, может быть, и мечтал бы построить что-нибудь попроще, но против обычая не пойдет. И потратив десять лет жизни на строительство своими руками каменного дома под оцинкованной крышей, он из последних сил пристроит террасу, но никак не станет благоустраивать дом изнутри. И переедет, по сути дела, из старой закишей избы точно в такую же — разве что более прочную.

И не только потому Тюкин не станет перечить обычаю, что побоится почувствовать себя в одиночестве холодно и неуютно, но прежде всего потому, что террасу-то он хоть и из последних сил, да все же пристроит, а ни водопровод, ни канализацию, ни центральное отопление ему пока никак не осилить.

Обычай хоть и „деспот меж людей”, но все же от экономической реальности не отрывается. Не только обычай диктует, как жить, но и возможности жить так или иначе — формируют обычай...

С помощью одного из исследователей мы можем познакомиться с тем, как обставлял свой быт colega нашего Тюкина, механизатор колхоза им. Карла Маркса, живущий совершенно в другой области, — кажется, в Орловской:

„Захотелось мне построить новый дом — старый тесен и без удобств. Набрал денег, пять лет заготавливал строительный материал, наконец, построил. Дом, как видите, неплохой (дом крыт шифером, в нем три комнаты, высокие потолки и окна, — примечание интервьюера). Нужна обстановка. Стали постепенно покупать мебель: почти все, что нужно, приобрели. Теперь набираем денег для покупки телевизора, да и мотоцикл хочется приобрести...”⁴³.

Даже это весьма неполное и неточное интервью дает нам представление о том, с каким трудом крестьянину дается строительство и обретение элементарных бытовых удобств.

Мы знаем, что посадские крестьяне зарабатывают на ранних огурцах вдвое, втрое больше, чем в иных деревнях можно заработать на картошке. И живут лучше соседей. И все-таки уровень их жизни, — как, видимо, и уровень жизни крестьян колхоза имени Карла Маркса, — не выше той черты, где кончается насыщение самых элементарных физиологических потребностей. И телевизор с большим экраном — едва ли не абсолютный верх материальных, духовных, престижных устремлений.

Но ведь есть же другая жизнь! Ведь есть „маяки” — читаем же мы о них в „Правде” и „Огоньке”, читаем и картинки разглядываем. Ведь есть же хозяйства, где работники получают из колхозной кассы поболее иного промышленного рабочего.

Они-то хоть не так материальной нуждой зажаты?

Один журналист, демонстрирующий нам социологический подход, — мы уже знаем этого автора как умиленного наблюдателя крестьянского безлошадного счастья (см. с. 84), — на сей раз, вдохновенно живописуя быт типичной, по его мнению, сельской семьи — семьи совхозного механизатора с ежемесячным доходом при двух работниках 484 рубля, — то есть в два раза выше среднего, — с восторгом замечает:

„В общем, теперь семья Александровых расходует на приобретение промтоваров втрое больше денег, чем пять-шесть лет назад... Солидную статью расходов составило приобретение современных, „модерных” предметов, заменяющих старые, вышедшие из моды: вместо оттоманки, которую отправили в печь, привезли из Ленинграда диван-кровать и т. д.”⁴⁴.

Все правильно: для семьи, еще недавно жившей в полной нищете, для семьи, которая, по свидетельству самого автора, лишь в последние годы смогла приобрести шкаф, стол, стулья⁴⁵, — для такой семьи и диван-кровать роскошь. Дай Бог Александровым спать мягко на этом диване... Но к чему восторг, коллега? Вы сами-то не на оттоманке спите? Да и стол со стульями у вас, должно быть, — не первый год?

Наша Аксинья Егорьевна точнее публициста заметила прогресс в жизни деревни:

„После войны, бывало, да и недавно еще, — идешь по деревне и видишь, как сосед вшей бьет — ни занавесок, ни подзоров на окнах. Теперь-то куда лучше! Кой у кого и занавески тюлевые...”

Огромному большинству крестьянских семей, доход которых вдвое, а то и вчетверо меньше, чем у Александровых, и вовсе не до модной мебели. Если мы станем измерять уровень жизни и уровень

потребностей крестьянина той же меркой, какой измеряется жизнь всего общества в целом, то верхняя половина шкалы нам не понадобится. И хотя в ином крестьянском доме появился телевизор, трехстворчатый шкаф и даже диван-кровать, уровень жизни и уровень потребностей крестьянина соответствует той по сути своей мелкотоварной, нищенской, *докапиталистической* форме хозяйствования, которая единственно возможна на приусадебном участке в условиях ограниченного рынка, в условиях административных запретов на частную инициативу в широком масштабе, в условиях крепостнических земельных отношений, столь характерных для общества „развитого, зрелого социализма”.

И надо ли удивляться, что

„семьи, в бюджете которых доход от личного подсобного хозяйства составляет заметную долю, не соглашаются на его сокращение даже при условии предоставления им коммунальных удобств (при переселении в казенные квартиры в многоквартирных двух-трехэтажных домах. — Л. Т.)”⁴⁶.

Но приняв эту очевидную истину, исследователи потребностей тут же торопятся застраховаться:

„Почти во всех селах имеются группы людей, предпочитающие жить в двухэтажных домах со всеми удобствами, не занимаясь уходом за скотом, огородом, не топя печи в течение большей части года”⁴⁶.

Какая мысль за этой фразой? Разве, при всей неразвитости крестьянских потребностей, есть хоть кто-нибудь, кто *предпочитает* топить печи, когда — при прочих равных условиях жизни — есть возможность пользоваться центральным отоплением? Разве кто-нибудь находит удовольствие копать руками в коровьем дерьме и не *предпочел бы* отказаться от этого занятия при достаточных средствах, при

возможности приобрести механизмы, заменяющие ручной труд в крестьянском хозяйстве, при возможности купить мясо и молоко? Крестьянин может всю жизнь пить „удовлетворительную” воду, но если хотя бы на другом конце села есть чистый колодец, — он *предпочтет* его всякому другому.

Настойчивые опросы, проводившиеся социологами, показывают, что вроде бы 95% колхозников удовлетворены своим материальным положением и работой в колхозе⁴⁷, но это совсем не значит, что они не *предпочли бы* иной образ жизни (и иначе поставленные вопросы интервьюеров-социологов), будь у них выбор. Но выбора-то им как раз и не предоставляют...

Не „почти”, а во всех селах, и не „группы людей”, а все население полностью *предпочитает* жить по-человечески. Но возможно это лишь в двух случаях: или когда крестьянин станет наемным рабочим, сельским пролетарием в полной мере, и в виде заработной платы целиком получит причитающуюся ему часть необходимого продукта, или когда крестьянин станет фермером и сам, подчиняясь лишь законам и требованиям рынка, распорядится произведенным на ферме продуктом.

Ни первый, ни второй варианты не могут быть реализованы при нынешних социально-политических и экономических условиях. Поэтому, продолжая *предпочитать* жизнь цивилизованную, с коммунальными удобствами и прочими благами нашего века, крестьянин в то же время продолжает топить печи „в течение большей части года” и продолжает вести приусадебное хозяйство. В противоположность ученым-социологам крестьянин соразмеряет потребности с реальной жизнью. И поэтому кормит и себя, и социологов, изучающих его предпочтения.

В свою последнюю осень Аксинья Егорьевна вдруг решила, что нужно пригласить печника и сложить новую русскую печь, поскольку у старой давно уж обвалился свод, да и по челу прошла такая трещина, что в ней поселились мыши. И хотя лет уже пять или даже больше изба хорошо отапливалась небольшой камфорочной печуркой, неисправная печь нарушала покой и гармонию крестьянской души. И когда случилось, что какой-то проезжий шофер остановился посреди улицы и предложил, не возьмет ли кто у него за бутылку машину песку, Аксинья Егорьевна велела песок свалить возле дома и тут уж точно решила, что раздобудет тысячу кирпича и позовет мастера... Но осенью печь так и не сложилась, зимой такие работы не делаются, да и не до них было за болезнью, а к весне и самой хозяйки не стало, — развалившаяся печь по-прежнему занимала половину избы, но теперь уже не нарушала ничье душевное равновесие.

Однако в начале апреля неисполненное намерение соседки вспомнилось: бесхозная куча песка вдруг возникла из-под снега между домом Аксиньи Егорьевны и моим. Вспомнилось и тут же забылось: песок сделался детской площадкой для ребятшек нашего края села...

Не знаю, отчего уж так получилось, но деревенские дети — эти Аленушки, Иванушки, Машеньки из русских сказок — не только теперь иначе зовутся, но и сказок-то не вспоминают в своих играх. Слушая детские разговоры и различая сюжеты игр на песочной куче, я ни разу не слышал упоминания сказочных зверей или таинственных сил. Впрочем, может быть, дети всегда были существами мыслящими прагматически и всегда играли с

наибольшей охотой во взрослых, оставляя взрослым сочинять сказки и играть в детей? Не знаю. В Москве трехлетняя дочь моих хороших знакомых, усаживаясь на качели, оставляет рядом с собой свободное место, которое, оказывается, вовсе не свободно, но занято домовым, — он невидим взрослым, но хорошо различим ее воображению: мохнатенький, добрый и еще у него зубы болят... Ребенка с детства научили восприятию сказки.

Но на песочной куче играли не в домового. Крошечная рыжая девочка лет четырех, едва научившаяся правильно говорить, изо дня в день повторяла игру, приводившую в восторг и ее саму, и ее ровесницу соседку. С детским бидончиком рыжая как бы шла к маме на работу, за молоком. Бидончик заполнялся водой или песком. „А теперь давай молоко прятать!“ — говорила рыжая...

Я не сразу понял, что дети играют в то, как они *воруют* молоко на ферме, или, вернее, в то, как они помогают матери воровать молоко, — мать рыжей девочки работала дояркой. Дети не знают, что значит воровать, для них спрятать молоко — что-то вроде игры в „тепло-холодно“... но *взрослые не знают, что значит не воровать*.

В последнее время даже в партийных кругах все чаще стали поговаривать о колоссальном размере воровства в стране. Называют даже какие-то цифры и данные, добытые органами юстиции и милическими ведомствами. Но все это несерьезно. Во-первых, воровство не укладывается ни в какие цифры, а во-вторых, явление это вовсе не по части карательных органов. Воровство, особенно в сельской местности, стало промыслом, без которого не прожить. Это торговый ряд на черном рынке.

Для крестьянина воровство — продолжение его борьбы за свою долю необходимого продукта,

продолжение приусадебного хозяйства. Крестьянское хозяйство невозможно вести без инвентаря, без хозяйственных построек, без тысячи мелочей: без мотка проволоки — починить на скорую руку плетень, без машинного масла — смазать колеса у тележки, с которой за сеном ходят, без самых этих колес, без гвоздей... Сколько бы мы ни тыкали пальцем, стоя посреди крестьянского двора, в различные предметы вокруг нас, окажется, что почти ни один из них не куплен. И не потому, что крестьянин — тип изначально безнравственный и украсть гвоздей на гривенник ему приятней, чем купить. Просто купить все это негде, ничто из необходимого не продается. Но раз не продается, а хозяйство-то все равно вести нужно, — значит, воруются...

Нет, все-таки с цифрами в руках проще представить, о чем идет речь:

„В 1964 году в среднем на колхозный двор было выдано за работу в колхозе и продано сена и соломы на 37% меньше, чем в 1958 г. В связи с этим в ряде районов страны расхищались общественные фуражные запасы... В 1964 году в колхозах Львовской и Николаевской областей в среднем на хозяйство колхозника было похищено соответственно: сена 85 и 150 кг, соломы 110 и 140 кг”⁴⁸.

Это единственное в своем роде печатное признание зависимости между производством необходимого продукта и воровством. И у нас есть все основания распространить найденную зависимость на приусадебное хозяйство в принципе.

Кто продаст крестьянину необходимые два-три мешка удобрений? В колхоз за ними не ходи, скажут: самим не хватает, — и не без оснований скажут... А кто украдет, тот и продаст. Впрочем, чаще сам крестьянин и украдет, — воровство пока не стало профессией для каких-то определенных лиц

в деревне, как выращивание огурцов для семьи Тюкиных, — общественное разделение труда не сильно коснулось этого промысла, к которому как раз и применимо определение „подсобный и личный”.

В магазинах, кроме ведер и лопат, ничего нет. Но все есть в колхозе. Нужны колеса для тележки? Пойди на машинный двор — там наверняка какие-нибудь валяются... Нужна веревка на ворота? Пойди к леснику, он получит свое и отвернется, когда ты ее из лесу потянешь... Нужна машина чтоб дров привезти, — не ходи к председателю колхоза, не даст. Договорись с шофером — так привезет, украдет эту услугу из колхозного бюджета.

Где бы Акси́нья Егорьевна или Гавря Тюкин могли бы купить машину песку, необходимого для ремонта печи, другому — для строительства дома? Нигде не купишь. Но можно договориться — чтобы для тебя украли, — вору заплатишь, как заплатила Акси́нья Егорьевна тому шоферу. Впрочем, шофер тоже не подбирался к песчаному карьеру тайно, аки тать в ночи, но подъехал среди бела дня, экскаватор нагрузил машину, и так же среди бела дня шофер поехал по селу, спрашивая, не нужен ли кому песок в обмен на бутылку водки.

В магазинах ничего не купишь — чего-то не привезли, а чего-то и в принципе не бывает в продаже. В колхозе не выпишешь, колхозу и самому невеликие фонды выделяются, а что можно бы и уступить частному лицу, то, в первую очередь получают люди, которые около председателя кучкуются... И в то же время все кругом продается и покупается.

Легального рынка товаров и услуг, необходимых в крестьянском хозяйстве, не существует, но действует и процветает колоссальный рынок кра-

денного. И если мы говорим, что основные фонды приусадебного хозяйства оцениваются сегодня десятью миллиардами рублей, то сумму ежегодных краж в сельской местности нужно оценивать миллиардами же рублей и не поднимать потешную возню по поводу того, что, по сведениям МВД, ежегодные хищения по всей стране отнимают-де у государства двести-триста миллионов⁴⁹.

И, конечно, объект воровства — не только предметы производственного назначения. Если воруют материал для строительства хлева, корма для коровы, услугу ветеринара, то почему бы сразу не украсть конечный продукт — молоко?! И воруют. Крадут все, что производится на колхозных полях и на фермах — кроме разве живого скота. Впрочем, десятками способов исхитряются воровски забивать скотину и тащат мясо.

И сами крадут, и детей посылают.

Я знаю многодетные крестьянские семьи, где дети начинают воровать с пятилетнего возраста. Да нет, не дети же воруют! Взрослые воруют детскими руками: скажем, в полном составе семья идет в колхоз работать на току. У каждого в руках по ведру. Нарботать — немного наработают, но перед уходом домой ведро смачивается, к влажным стенкам прилипает зерно... Самый маленький, конечно, не работал, а так, поиграть ходил со старшими, но и его кармашки плотненько набиты зерном, — старшие позаботились. Вчетвером, впятером сходили — полведра принесли.

Доярки обучают детей, и те носят молоко с фермы даже и в детской посуде. А уж грелка для сельского жителя — идеальный воровской инвентарь: удобнее предмета для кражи молока не сыщешь.

В послевоенные голодные годы, было время, при выходе в деревню обыскивали крестьян, воз-

вращавшихся с полей. Я узнал об этом случайно: женщина, с которой я разговаривал на сельской улице, зло плюнула вслед прошедшему мимо человеку, — оказалось, он в какое-то время был тут председателем колхоза и лично ощупывал мою знакомую, нашел спрятанные ею в одежде три морковки, которые она несла детям. Нашел, и отобрали... Такое не забывается и через тридцать лет.

Но если взрослые воруют, как работают, — то есть получают некий продукт, который иначе не заработаешь, то дети — прежде всего получают моральный урон. И сколько бы потом в школе и в обществе ни проповедовали седьмую заповедь, проповедь лишь будет расшатывать цельное мировоззрение, усвоенное на деле во время невинных детских краж, но, расшатывая, вряд ли даст взамен что-нибудь столь же прочное, как убеждение, что не своруешь — не проживешь.

В предыдущей главе мы, пожалуй, слишком легко проскочили мимо одного очень важного свидетельства медиков, которое здесь уместно привести целиком:

„В 15-19 лет в сельской местности по сравнению с городом становится заметной более высокая смертность от болезней нервной системы органов чувств (в 2,5 раза), психических расстройств (в 3 раза)... Характерно то, что в этом возрастном периоде нет ни одной причины смерти, которая имела бы более высокие показатели в городах, нежели в сельской местности”⁵⁰.

Может быть, обостренная чувствительность юношеского возраста до трагических размеров усиливает в сознании разрыв между идеалом, проповедуемым ежедневно и ежечасно по всем каналам информации, и реальностью? Может быть, хрупкое юношеское сознание со смертельной остротой

осознает ложь, которая еще не понятна ребенку и к которой уже привык взрослый? Увы, на этот счет нет данных, проверенных серьезными исследованиями.

Если человеку приходится ежедневно нарушать общепринятые нравственные нормы, если проповедь, которую он слышит ежедневно, никак не согласуется да и не может согласоваться с единственно возможным способом поведения, слова или теряют свое императивное значение или рассекают психику человека, разрушают его личность. Это, кстати, относится ко всему черному рынку в принципе — все знают, что взятки, спекуляция, воровство безнравственны, но никто не может прожить без взяток, спекуляции, воровства.

И крестьянин прекрасно знает, что воровать — дурно, безнравственно, — и ворует. Крестьянин постоянно слышит, что в советском обществе первая и главная честь — труду, но его, крестьянина, труд признан *общественно нерентабельным*, — настолько, что общество как бы из милости доплачивает несостоятельному работнику, из милости содержит его. Крестьянин, наконец, слышит, видит в кино и на телеэкране, читает в газетах и журналах, что кругом-то люди живут прекрасно и счастливо, — вспомним семью Александровых, которые купили диван-кровать, — и в его душу закрадывается холодная тоска, мрачное сознание того, что он — *неудачник*.

Нравственная ценность идеологии, противопоставляющей некое „светлое будущее” сегодняшней жизни общества, сомнительна сама по себе.

„Лишение живущего поколения возможности свободно распорядиться своим имуществом и подчинение его воле давно умершего поколения или правам поколения еще не родившегося, делают для него невозможным участие в ра-

боте на благо своей страны, убивают в нем интерес к земле, которая в определенном смысле становится для него чужой”⁵¹.

Мысль Сисмонди совершенно справедлива и в тех случаях, когда искусственно ограничивается приложение инициативы и капитала ради „планового научного ведения хозяйства”. Утопические идеи умершего поколения, демагогия якобы в пользу поколений еще не родившихся, а в результате — равнодушие и нищета поколения нынешнего.

Крестьянин, конечно, не так прост, чтобы целиком и полностью поддаться пропагандистскому угару, — а то бы не выжил, но и не так крепок сознанием, чтобы не чувствовать зудящего разлада между всеобщей проповедью и собственной жизнью. И хотя в общественных явлениях причина сплошь и рядом оборачивается следствием, мы, видимо, не ошибемся, если свяжем чувство социальной неполноценности с патологией сознания (нервные, психические болезни), с патологией поведения (пьянство, грубость, хулиганство, насилие).

У нас нет гласной статистики преступности, но, как подсказывает опыт, в селе средних размеров — на 150-200 дворов — ежегодно совершается по крайней мере одно убийство или другое тяжкое преступление против жизни и здоровья человека. Население средней деревни легко расселится в небольшом городском доме на пару сотен квартир. Стали бы мы, горожане, спокойно жить в доме, где ежегодно убивают?

Теперь надо бы говорить о пьянстве... О пьянстве надо бы рассказывать много и подробно, и это был бы рассказ о животной тупости семейных отношений, о психически больных детях, рождающихся едва ли не в каждой сельской семье, это был бы

рассказ о тяжелых увечьях и поломанной технике, о поджогах, убийствах и снова о детях, чьи судьбы искалечены в атмосфере всеобщего пьянства. Словом, это был бы рассказ о физическом и нравственном вырождении народа, а мы пока, слава Богу, говорим о том, как народ противостоит вырождению.

Да и подступись к теме пьянства, научных сведений никаких не сыщешь. Сколько-нибудь систематического изучения пьянства не ведется. Нет такой темы в планах социальных исследований: страна запланированно движется к коммунизму, вырождение происходит внепланово.

Впрочем, если нет пока еще прямого плана на вырождение, то жесткий план на выручку, на доход от пьянства — существует и действует. Государство из всего извлекает свою выгоду — даже из деградации личности алкоголика. А мы-то думаем, что хоть напившись ускользнем от социалистической реальности! Ничего подобного! Нас и здесь догонят. Деньги, которые мы отдаем за водку, не что иное, как косвенный налог с населения. Недаром в закрытом партийном распределителе водку дают по себестоимости — с партийной бюрократии налогов не взимают.

Специалисты утверждают, — не печатно, конечно, но конфиденциально, — что доход от продажи водки намного превышает нынешние экономические потери от пьянства. Власти от этого дохода легко не откажутся, даже если грядущее коммунистическое общество наполовину будет состоять из идиотов и потомственных алкоголиков. Если в каком-то сельском районе не выполняется план книжной торговли, туда дают вагон дешевой водки...

Водка — первейший товар на государственном черном рынке.

В обстановке постоянного материального дефицита и жестких запретов на частную инициативу, когда государство не может и не хочет удовлетворить элементарные потребности человека, все мы чужой волей выброшены на *черный рынок*, где все покупается: народом — втридорога мясо, одежда, строительные материалы и прочие блага; у народа — втридешево рабочая сила взрослого и ребенка, старика, женщины, а вместе с рабочей силой и вся жизнь работника целиком и полностью.

Человек и сам уже ощущает себя живым знаком черного рынка и на другого смотрит как на чернорыночного партнера... Эти связи и хоть и держат сверху донизу все советское общество, вовсе не исследуются ни социологией, ни социальной психологией. Они замечены лишь в художественной литературе, которая, сама по себе, — инструмент более тонкий и менее зависимый от директивного руководства, чем общественные науки.

Посмотрим глазами писателя на сельское общество, собравшееся за одним столом, — за столом, который вполне мог быть накрыт в любой русской деревне:

„Петр Иванович худых гостей не позовет, не такой он человек, чтобы всякого вином поить. Перво-наперво будут головки: председатель сельсовета да председатель колхоза, потом будет председатель сельпо с бухгалтером, потом начальник лесопункта — этот на особицу, сын Петра Ивановича у него служит.

Потом пойдет народ помельче: пилорама, машина грузовая, Антоха-конюх, но и без них, без шаромыг, шагу не ступишь. Надо, скажем, дом перекрыть — походишь, поклоняешься Аркашке-пилорамщику. А конюха взять. Кажись, теперь, в машинное время, и человека бесполезнее его нету. А нет, шофер шофером, а конюх конюхом. Придет зима да

прижмет с дровами, с сеном — не Антохой, Антоном Павловичем назовешь...

Самым важным, гвоздевым гостем сегодня у Петра Ивановича был Григорий Васильевич, директор школы. Его пуще всех ласкал-поччевал хозяин. И тут голову ломать не приходилось — из-за Антонида. Антонид в школе работать будет — чтобы у нее ни камня, ни палки под ногами не валялось.

А вот зачем Петр Иванович Афоньку-ветеринара отличает, Пелагее было непонятно. Афонька теперь невелика шишка, не партийный секретарь, еще весной сняли, с прописью в районной газетке, — и когда теперь вновь подыметься?"

Да нет, не может быть, чтобы наблюдательная и мудрая Пелагея не поняла, зачем тут Афонька-ветеринар! А ну как все-таки подыметься? Если не спился — подыметься обязательно. Да если и спился, еще не все потеряно: влиятельные друзья найдутся — и пьяного к должности прислонят.

Партийными секретарями, хоть и бывшими, власти так легко не разбрасываются. Афонька — человек посвященный. Вчера был на партийной должности, завтра — на любой другой руководящей работе его увидим. Он — хоть и кажется, что только служит крупным хозяевам: райкомовским, обкомовским и тем, что повыше, — но и сам хозяин под стать председателю колхоза или председателю сельсовета. Хоть и мельчайший, но хозяин. Власть. Правящая структура. Он на черном рынке не только товары покупает — для себя и для семьи, — но и дешевую рабочую силу — для нужд государства: с помощью таких афонец крестьянина обворовывают в колхозе и заставляют сверхурочно вкалывать на приусадебном участке.

Что же это за общественная структура такая новая, в истории невиданная — партийная бюрократия? Что мы знаем о ней?

Афонька — государство, его мельчайшая пылин-ка. Государство — это люди, персонифицирован-ная идея. Или даже один человек — вождь, фюрер, монарх. Кто же у нас в стране воплощает идею со-циалистического государства? Партийная бюрокра-тия, три миллиона работников партаппарата и при-мыкающих к нему пропагандистских и репрессив-ных учреждений. Они правящая структура, охрани-тели стабильности сложившейся социально-полити-ческой и экономической системы. Но по мере того, как идея изживает себя, перестает пользоваться ка-ким бы то ни было доверием народа, она теряет преданность и самой правящей структуры. Уже не *идею* охраняют они, но лишь собственную власть и личные привилегии. Все с большей силой правящая структура проявляет себя на черном рынке не как государственное око, но как лично заинтересован-ный партнер.

Кто в условиях *черного рынка* обладает наибо-лее полным комплексом преимуществ? Кому все это выгодно настолько, что все перемены, всякая инициатива к переменам — видится как страшней-шее зло? Кто, не умея, не желая разумно организо-вать хозяйственную жизнь общества, может за-ставить крестьянина или рабочего идти на черную биржу сверхурочного труда? Кто реально распоря-жается наибольшей суммой общественных благ и услуг, каждая из которых рано или поздно, но обя-зательно становится предметом купли-продажи на черном рынке? Кто распределяет сами доходные должности в системе — эти *кормления* XX века, сажая на них преданных афонец и пользуясь всеми преимуществами своего положения? Кому, нако-нец, мясо, обувь, книги продаются не через задние двери магазинов и с наценкой, а попросту в особом магазине и со скидкой? Кто же это? Да, конечно же,

не кто иной, как профессиональные политики всех мастей и рангов, партийное руководство, никем не избранное, но имеющее всю полноту власти в стране.

Все планы — экономические и политические, — все устремления нынешней государственной власти у нас в стране направлены на то, чтобы сохранить политические и материальные привилегии партийной бюрократии. Это — задача номер один, все остальные задачи, включая материальное и духовное благополучие народа, общества, имеют второстепенное значение при разработке планов на будущее.

Привилегий значительно больше, чем может показаться при сопоставлении прямых денежных доходов, — их даже трудно измерить единой мерой.

Можно сопоставить мизерную цену на продукты питания в закрытом распределителе для партийных работников с базарной ценой — для рабочих, но как сопоставить затраты на все продовольствие тех и других, если рабочему часто *негде* купить мясо, молоко и другие жизненно важные продукты? Можно сопоставить мизерную квартплату, которую платит партийная верхушка, с огромными затратами крестьянина на строительство собственного жилья, но как сопоставить, какими деньгами измерить пропасть между роскошной квартирой и дачей для чиновников и ночлежными койками рабочих общежитий не менее как для *десяти миллионов* бездомных (впрочем, и этих-то коек не хватает всем, и ради них-то — интриги, унижения, подкуп, подлость) ...

За медицинское обслуживание никто не платит наличными, но к партийному функционеру, прикрепленному к спецполиклинике, на дом приедут, чтобы кровь из пальчика взять, а крестьянин и с поломанной рукой будет топать с десяток верст до

ближайшей больницы или до ближайшей автобусной остановки, и ребенка больного понесет... Уже и место на кладбище дается не мертвому, но живому: чем выше должность в партийной иерархии, тем более благоустроено будет кладбище твое, и могила твоя не просядет, залитая водой в первое же весеннее половодье, как то происходит на небрежных общих городских усыпальницах (впрочем, городских лишь по названию, поскольку брезгливо отодвинуты они от города подальше, в район свалок и овощных складов).

В замкнутом мире тайной эксплуатации и нечистых экономических махинаций, в который каждый из нас впаян вне зависимости от личной воли и желания, партийная бюрократия занимает положение *королей черного рынка*, его „паханов”. Сама партийная должность становится чернорыночной ценностью, и за столом у любого Петра Ивановича, где сидят уже не люди, но пилорама, машина, лошадь, — если и не парторг, мельчайшая сошка, то уж секретарь райкома сядет во главе стола.

Одно только подробное перечисление привилегий и льгот партийной бюрократии составило бы отдельную книгу. Книгу о социальной и экономической системе, где заработанные деньги перестают быть показателем общественного признания, но становятся лишь маскировкой, под прикрытием которой правящая структура *отнимает* блага без какого бы то ни было эквивалента. Написать такую работу весьма интересно, но непросто, поскольку экономические границы правящей структуры сильно размыты. Разные ее слои по-разному участвуют и в присвоении, в распределении прибавочного продукта.

Часть прибавочного продукта идет на научно-технические разработки и исследования, которые,

видимо, сами должны бы результатом своим иметь создание стоимостей, создание благ для общества. Но в социалистическом государстве правящая структура, естественно, руководит и общетехнической политикой, а значит, финансирует именно и прежде всего те научные и технологические идеи, которые обеспечивают его стабильное положение: исследования и разработки, связанные с военной промышленностью, — в области точных наук и техники; исследования, помогающие обработке и оглуплению масс, — в области общественных наук.

С партийной бюрократией тесно срослась и техноструктура, — те, кто непосредственно руководит производством, — и научная интеллигенция, и интеллигенция художественная. Все они получают свою долю от прибавочного продукта — тем большую, чем лучше работают на стабильность системы, чем выше их деятельность оценивается партийной бюрократией, которая является единственным заказчиком и покупателем работ.

Очень интересны льготы, которыми пользуются люди, занимающие низшие ступени партийно-государственной лестницы — там, где бюрократия почти смыкается с крестьянством (или крестьянство тянется к бюрократии). Эти льготы и привилегии касаются... ведения приусадебного хозяйства.

„Председатель Лаудесского сельсовета (Латвийская ССР. — Л. Т.) имел в колхозе приусадебный участок в размере 0,97 гектара и, кроме того, использовал 1 гектар колхозного клевера под пастбище для личного скота, у председателя Продского сельсовета в личном пользовании находилось 2,11 гектара колхозной пашни”⁵².

Эти двое перебрали и были поставлены на место. Но в принципе использование специалистами и административными работниками колхозов, совхозов, сельсоветов производственных фондов тех

хозяйств, где они работают, для нужд собственного приусадебного хозяйства — норма.

„В настоящее время наибольшие хозяйства имеют руководящие работники, особенно руководители среднего и низшего звена”⁵³.

Если не брать полюсы — скажем, крупнейших работников партаппарата, с одной стороны, и Аксинью Егорьевну с семьей Тюкиных с другой, — то можно говорить о большей или меньшей привилегированности различных слоев общества, даже различных географических районов. Причем объем привилегий зависит лишь от политических задач партийной бюрократии.

Москва, несомненно, самый привилегированный город страны. Московский рабочий трудится столько же, сколько, скажем, одессит или свердловчанин, но живет в условиях во всех отношениях более выгодных, чем остальное население. И не только из соображений престижа перед Западом, но как надежный оплот власти: недовольства и волнения в столице могли бы возбуждающе подействовать на всю страну.

Именно поэтому продовольствия в Москве продается на душу в два раза больше, чем в Одессе или в Ашхабаде (на 547 руб. в год против 286 — в Одессе и 270 — в Ашхабаде)⁵⁴. И поскольку доподлинно известно, что у большинства одесситов нет приусадебных участков, можно смело утверждать, что питаются они хуже, чем москвичи, имея даже в виду, что Москва кормит сотни тысяч приезжих, которые стремятся сюда за продуктами, — в том числе и одесситов, хотя от Москвы до Одессы 1526 километров по железной дороге.

Иными словами, если одесский рабочий (или херсонский, рязанский, архангельский и т. д.)

производит то же количество продукта, что и его коллега в Москве, то потребляет он значительно меньше. Его политическая поддержка вызывает меньшую озабоченность у правящей структуры, и поэтому именно на его потреблении, на потреблении его семьи, его детей в первую очередь скажутся провалы хозяйственной стратегии партийной бюрократии. Именно он будет вынужден в первую очередь продавать на черном рынке свою рабочую силу: работать сверхурочно, вести подсобное хозяйство или воровать.

Правящая структура по собственному произволу устанавливает цену на самый главный товар экономической системы: на рабочую силу. И дороже платит той части общества, у которой ищет политической поддержки. Вот крайне важная для нас истина: чем более существенна роль той или иной общественной группы в поддержании государства партийной бюрократии, тем менее ее благосостояние зависит от провалов и успехов в экономике. Наличие товаров в закрытом распределителе не зависит от уровня их производства в целом по стране. Москва не знает пустых прилавков и в самые трудные годы, — слишком важно для стабильности власти самодовольное благополучие столичного населения.

А уж судьба самой правящей структуры и вовсе никак не зависит от экономических обстоятельств. Экономические неудачи в той или иной отрасли хозяйства редко и совсем не обязательно сказываются на карьере нескольких чиновников, — да и они-то, как правило, лишь чуть понижаются в должности или и вовсе переводятся на аналогичную должность, но по другому адресу. Их отстранение — не что иное, как ритуал, видимость решительного действия в царстве полной хозяйственной безответственности.

Никто ни за что не отвечает всерьез. Никто ничего и не знает сверх цифр последнего отчета, отосланного в вышестоящую организацию. Социологи запросили у партийных и хозяйственных руководителей мнение о прошлых и будущих изменениях деревни и тут же увидели, что

„из 545 высказываний только 15 содержат общую оценку происшедших и ожидаемых изменений... Малое число общих оценок изменений деревни позволяет сделать вывод, что руководители скорее склонны к анализу конкретных явлений сельской жизни, чем к обсуждению общих вопросов о масштабе социально-экономических изменений деревни, их глубине и значении”⁵⁵.

Они даже сами не понимают, откуда берутся их привилегии, каким образом попадают продукты в партийный распределитель, кем оплачиваются их должностные льготы. Они не знают и не понимают общества, которым руководят: 9/10 из них считают, например, что через несколько лет приусадебное хозяйство колхозников уменьшится в объеме или вовсе отомрет⁵⁶. Но что же они тогда есть-то будут? Они и над этим не задумываются — знают, что пока за ними власть, будут есть, и досыта.

Безответственность, кажется, стала основной чертой хозяйственной политики правящего класса. Она зияет даже в таком важном документе, как Программа партии, где обещано было:

„В ближайшее десятилетие (1961-1970) Советский Союз, создавая материально-техническую базу коммунизма, превзойдет по производству продукции на душу населения наиболее мощную и богатую страну капитализма — США; значительно поднимется материальное благосостояние и культурно-технический уровень трудящихся, всем будет обеспечен материальный достаток; все колхозы и совхозы превратятся в высокопроизводительные и высокодоходные хозяйства; в основном будут удовлетворены потребности советских людей в благоустроенных жилищах; исчезнет

тяжелый физический труд; СССР станет страной самого короткого рабочего дня”⁵⁷.

С кого же теперь спросить за эти обещания? Не с кого. Никто ни за что не отвечает. В тех *рядах* черного рынка, где как товар циркулирует личность партийного чиновника, наибольшим спросом пользуется не умение увидеть глубину хозяйственной и политической перспективы, не хозяйственный талант и инициатива, но дар раболепного исполнительства. Тот, кто предлагает на продажу именно эти качества, может не опасаться банкротства и разорения, как бы ни обстояли дела на ином, главном рынке, где широко циркулируют хлеб, машины, жилище, рабочая сила. Даже бездарный хозяин, но преданный исполнитель обласкан будет начальством: ему при необходимости и *кормление* побогаче найдут. Талантливый хозяин, но нелояльный к системе, и дня не продержится... Или нет, самым талантом он будет противопоставлен существующей хозяйственной системе, — и смят будет, станет жить по законам бездарности, смирится.

Советская система — диктатура бездарности, диктатура СТРАХА, который бездарность испытывает перед талантом. Именно страх перед открытыми рыночными отношениями, *страх проиграть* на рынке — чувство хорошо знакомое, должно быть, каждому из нас — именно этот страх питает во всем мире социалистические идеи. У нас же этот победоносный страх обрел черты государственности...

Конечно, талант с бездарностью легко не разведешь, — тут на первый-второй не рассчитаешься. И того, и другого начала в каждом из нас предостаточно, — важно, какому из них легче выжить, *с каким из них легче выжить?* Принадлежность к правящей структуре определяется чуть ли не с

детства: по данным социологов народного образования, наиболее охотно исполняют поручения преподавателей и пионервожатых („занимаются общественной работой”) как раз те школьники, которые не проявляют способностей к математике, филологии, биологии и другим специальным дисциплинам⁵⁸.

Но ведь из комсомольских активистов вербуются послушные комсомольские функционеры, а те, в свой срок, становятся партийными чиновниками и управляют судьбой своих бывших одноклассников, которые проявили способности к математике, биологии, хозяйствованию... Талант вынужден служить бездарности и жить по ее законам. И если таланту, чтобы реализоваться, нужен экономический простор, свобода инициативы и демократия, то бездарности реализовывать нечего, ее устраивает черный рынок, система запретов на инициативу, диктатура партийных чиновников.

Как крестьянин, который кормится со своего приусадебного участка, может не заботиться — он и не заботится — об успехах колхозного производства, так и партийный чиновник, кормящийся на черном рынке должностей, может не заботиться об успехах всей экономики. У него есть свой „приусадебный участок” — должностные привилегии и льготы. Ему не нужно думать, чем торговать и что на что обменивать, его обязанность — отнять побольше в пользу государства, а уж государство о нем позаботится. Впрочем, он и сам себя не забудет.

Кажется, никакие экономические потрясения не могут поколебать стабильность системы, а значит, и незыблемость привилегий и льгот партийной бюрократии в целом. Ей не грозит разорением экономическая разруха. Ей ничем не грозит разорение крестьян и рабочих.

Замкнутость, ограниченность общественных интересов партийной бюрократии той сферой, где льготы, связанные с партийной должностью, выдаются лишь в обмен на послушание и безропотность (а в конечном счете в обмен на умение блюсти запреты и давить все живое и талантливое) и не зависят от хозяйственной деятельности — сила правящей структуры, но серьезная слабость всей системы в целом.

Феодалные замашки правящей структуры, ее экономическая развращенность и бездарность постоянно гасят те возможности, которыми уже сегодня обладает в стране крупное машинное производство и которые в условиях хотя бы относительной свободы рыночных отношений дали бы колоссальный толчок развитию производительных сил общества, значительно увеличили бы его благосостояние.

VIII

Просто удивительно, насколько легко разрешимы любые хозяйственные проблемы у нас в стране. Многим кажется, — и это мнение поддерживается официально, — что нужны годы и годы, чтобы „поднять” сельское хозяйство, нужны крупные капиталовложения, техника, кадры. Днепрогэс нужно было возвести, теперь КамАЗ нужно построить, БАМ проложить... Да ничуть не похоже! Все эти сложности накручены лишь для того, чтобы скрыть правду: достаточно освободить колхозы и совхозы от жестоких административных ограничений и запретов, стесняющих хозяйственный маневр, — и тогда крестьянин сам „поднимет” и сельское хозяйство страны, и свою собственную жизнь, да и

все днепрогесы, камазы и бамы и построятся скорее и с большей отдачей заработают...

Несколько лет назад в стране исчез репчатый лук. Совхозы и колхозы не могли покрыть дефицит. И тогда в некоторых южных областях колхозам разрешили сдавать поля в сезонную аренду приезжим из Казахстана корейцам, мастерам возделывать лук. И что же? Урожай и сборы лука возросли в несколько раз в первый же сезон. Как просто!

Испытывая нехватку рабочих рук, руководители наших среднерусских хозяйств, стали приглашать — с согласия начальства, конечно, — сезонных рабочих из города, гарантируя им твердый и достаточно высокий процент от собранного количества картофеля, овощей или фруктов. Полученные таким образом продукты сезонники продают в городе по базарной цене. Дело настолько выгодное, что привлекает даже хорошо оплачиваемые категории горожан. И что же? Там, где такая система прижилась, картофель больше не уходит под снег, помидоры не гниют в поле, не пропадают богатейшие урожаи яблок. Чего же проще?..

Но почему только приезжих нанимают для такой работы? Почему лишь приезжим сдают в аренду землю? Неужели корейцы настолько лучше лук возделывают, чем русские крестьяне? Неужели какой-нибудь кандидат технических наук копает картошку тщательнее, чем сельский житель? Я спросил об этом одного мудрого председателя колхоза в Тульской области:

— А если мы своим колхозникам землю в аренду сдавать станем или четверть собранного картофеля отдадим за уборку, кто же из них по нарядам работать пойдет? Для кого тогда нормы и расценки существуют? Нам что же, распускать колхозы? Нет, воспитательная атмосфера в хозяйстве будет невыгодная...

Да, мы же совсем забыли! Нас воспитывают.

Социализм воспитывает нового человека — так говорилось и говорится. Подождем, когда воспитает. Но кто же из наших знакомых к идеалу нового человека ближе? Гавря Тюкин и его жена, которые, отработав день в колхозе, последние силы оставляют на приусадебном огороде? Или Афонька-ветеринар и его товарищи, которые верой и правдой готовы служить каждому новому секретарю райкома, пусть бы он заставлял их делать совершенно противоположное тому, что вчера ими делалось? Может, идеал — Аксинья Егорьевна, всю свою жизнь безропотно кормившая чиновников, которые продуманно мешали ей нормально жить и работать, — ее фото только после смерти с Доски Почета сняли? Или сам Леонид Ильич Брежнев — идеал исполнительного чиновника, чье житие подается нам в сусальной обложке?

Уж мы-то точно дальше от социалистического идеала, чем партийные функционеры. В нашей преданности социалистическим идеям начальство не уверено: нам на каждом столбе, на каждой стене висит напоминание: работай лучше... выполни план в четыре года... нынешний год работай за двоих... В цеху, в автобусе, в доме отдыха — всюду. Даже в доме призрения одиноких стариков, где каждое утро двоих-троих в морг несут, и тут прочтете при входе: „Поможем Родине ударным трудом...” Даже в психиатрической больнице.

Но нету лозунгов ни в строгих коридорах обкомов партии, ни в здании ЦК, ни в санаториях, где отрешаются от повседневности высшие партийные чиновники. К воротам их загородных дач не прибивют табличку „Дом образцового быта”, какие лепят к стенам нищих деревенских изб. Друг другу они никакими глупостями досаждать не

будут. Тут *новые* люди не воспитываются, кто сюда назначается — того и считать *новым*.

Но не надо думать, что они спокойно почивают за высокими заборами своих загородных дач, что размеренно гуляют, обстоятельно питаются удивительнейшей едой, из распределителя и в ус себе не дуют, — Н Е Т !! Как они вертятся! Как они работают! Сколько совещаний, предложений, постановлений! А ради чего? Да чтобы с земли впрямую им подвластной — с этих 98/100 пахотного клина — получить хотя бы 2/3 произведенного сельскохозяйственного продукта, — уж хоть бы не меньше!

Они крутятся, не спят ночей, ездят по плохим дорогам, стучат кулаками и ногами, кричат, приходят в отчаяние, заставляя людей трудиться *сознательно* (то есть бесплатно) на этих 98/100 земли. И пока они развивают бешеную деятельность, подкрепляя ее лозунгами, знаменами и газетными статьями, прославляющими социалистический труд, на остальных 2/100 земли, на крошечных участках люди тихо и спокойно работают и кормят *половину* всего населения страны... Но почему же так? Разве трудно представить себе, какого богатства достигнет страна, если снять сдавливающие запреты на хозяйственную инициативу?..

Да нет, конечно же, не духовный облик народа тревожит распорядителей хозяйственной политики, когда речь заходит об экономической самостоятельности крестьянина. Тут интерес более близкий: быть или не быть государству партийной бюрократии? Самостоятельность хозяйственная грозит стать самостоятельностью политической.

В конце шестидесятих годов, в либеральные времена разговоров об экономической реформе, один хозяйственный безумец, чье имя стоит за-

помнить — Иван Никифорович Худенко — уговорил какие-то советские инстанции пойти на „эксперимент”: вместо многочисленных банковских счетов, по которым не только финансируется, но и до каждого чиха контролируется и регламентируется деятельность совхоза, открыли ему один-единственный счет и предоставили самому решать, сколько на что потратить следует. И что же? Себестоимость зерна в этом совхозе оказалась в четыре раза ниже, чем всюду, прибыль на одного работника — в семь раз, а заработки — в четыре раза выше, чем в других совхозах. Производительность сельскохозяйственного труда выросла в три раза... Казалось бы, при наших постоянных хозяйственных трудностях Худенко должен бы стать национальным гением. Но нет. „Нам нужна не всякая производительность народного труда”. Худенко умер вскоре, приговоренный к трем годам заключения в лагерях строгого режима.

Судьба его эксперимента поможет нам понять саму суть экономической политики государства. Обратимся к свидетельству участника этой истории, опубликованному десять лет тому назад:

„Я и трое моих товарищей, все инженеры-проектировщики с высшим образованием встретились с организатором и руководителем эксперимента И. Н. Худенко и предложили свои услуги. Скажу, что нам сначала показалось трудно. Выяснилось, что мы совершенно не приучены и не умеем самостоятельно принимать решения, хотя трое из нас работали в должности главных конструкторов и архитекторов проекта. Какие дома строить, из каких материалов? как строить, какие механизмы приобретать в первую очередь? Все это мы стали решать сами. А через некоторое время вошли во вкус, почувствовали себя творцами общего дела, настоящими хозяевами.

Я не знаю, сколько существует... соседний овцесовхоз, но водопровода у него нет и по сей день. А проектируют его уже лет пять-шесть, и денег на подрядчиков овцесовхоз

потратил уйму. Наше звено строителей проработало в этом поселке меньше года, а вода уже весело зажурчала в кранах наших первых квартир и на все объекты подается. Мы сами построили в несколько месяцев скважину и водонапорную башню — без проекта и без сметы. Смета нам вовсе ни к чему — ведь ни норм, ни тарифов, ни расценок на виды работ у нас нет и агитировать тут никого не надо: чем меньше будут затраты, тем выше заработок каждого...

Получали мы одновременно с хозяйством обычного типа — Бурундайским откормсовхозом — импортные агрегаты для производства травяной муки. Бурундайцы их еще не пустили, а у нас они уже с середины прошлого года нормально работают и дают отличную продукцию. Дело опять-таки в том, что мы не открывали специального финансирования, не искали подрядчика. Сразу взялись за дело и в срок, за который вряд ли можно было успеть оформить все бумаги, смонтировали агрегаты, наладили и освоили производство. Сделали все быстро, но... с нарушением установленной процедуры. Проектировали механическую часть проектанты, хотя и с разрешения своего руководства, но не по плану — внеурочно. Налаживали автоматику самые квалифицированные специалисты так же сверхурочно, привозили мы их к себе в хозяйство на субботу и воскресенье. И платили наличными, по договоренности, без норм и расценок, а так, как считали выгодным для дела. Не скрою, переплачивали, видимо, наладчикам в сравнении с существующими тарифами, но зато завод работает...

Когда мы спрашивали Худенко, можно ли сделать то-то и то-то, хотя это по действующему порядку не положено, он неизменно отвечал: „Делайте так, как это наиболее целесообразно и выгодно с соблюдением государственных и своих интересов. Ошибки могут быть, но за них не убьют..."⁵⁹.

Убили.

И с точки зрения защитников системы было за что убивать: Худенко взорвал черный рынок, он пустил в него свет и воздух открытых рыночных отношений.

Смета, нормы, расценки — весь этот финансовый механизм, без которого преступно обошелся Худенко, так устроен, что позволяет *бесплатно* отнять у

работника значительную часть произведенного им продукта, выталкивая его самого на *черный рынок*. При помощи этого механизма правящий класс отнимает у крестьянина необходимый продукт, заставляя добирать в приусадебном хозяйстве. Механизм этот строго охраняется системой запретов и ограничений, наложенных на хозяйственный маневр.

Худенко же, связав работника прямым материальным интересом с конечным результатом труда, не оставил в хозяйственной практике места для партийной бюрократии — *запрещать* стало нечего и *отнимать* стало негде.

Совхоз как бы заслонился от внешних административных властей. Хлеб — пожалуйста. Травяная мука — пожалуйста. А с вашим фискальным досмотром, с вашей полицейской опекой — пойдите прочь! „Кушать — кушайте, а к хозяйке на кухню свой нос не суйте!” — говаривал Худенко.

Административные власти могли только одним способом влиять на положение дел в таком хозяйстве, буде „эксперимент” доведен до конца: снижать или повышать цену на технику, материалы, удобрения... *Торговать*.

Худенко предлагал партийной бюрократии стать торговым партнером. А стать торговым партнером — значит довольствоваться лишь частью прибавочного продукта, оставляя крестьянину тот необходимый продукт, который сейчас через завышение нормы и занижение расценки попадает в руки партийной бюрократии без всяких торговых церемоний.

Стать торговым партнером — значит выпустить из рук абсолютную привилегию власти. Стать торговым партнером и таковым же сделать крестьянина — значит дать ему свободно дышать, дать ему по-

чувствовать себя человеком, дать ему дорасти до гражданского самосознания — а вдруг и отличного от того образа мыслей, который насаждается партийной бюрократией?

Стать торговым партнером — значит везде и на всех уровнях общественной жизни соревноваться в том, чтобы как можно полнее удовлетворить материальные и духовные потребности народа, *конкурировать*... Но с кем конкурировать?

Стать торговым партнером — значит допустить риск возникновения конкурента, допустить риск проиграть в конкуренции; а учитывая многолетний отбор бездарности в правящую структуру, проигрыш почти неизбежен.

Да кто же согласится на такую судьбу? Худенко был наивным мечтателем, жертвенным героем, которому наши потомки, несомненно, воздадут должное.

Но разве нет у нас колхозов и совхозов, где банковские счета на месте, а производительность труда лишь немногим меньше, чем у Худенко была? Разве нет у нас отлаженных, производительных хозяйств, добившихся экономического успеха в *границах* существующих административно-хозяйственных порядков? Есть. Но правильно ли мы понимаем, где эти границы проходят?

Приглядимся, — и за гласной хозяйственной жизнью, за жизнью *подставленной* нашему взгляду — с подъемом флага в честь лучшего механизатора, с вручением отрезов дояркам на 8 марта, с трехстворчатым шкафом знакомой нам семьи Александровых — не станет ли нам различима иная хозяйственная реальность — тайная, негласная, чернорыночная.

Что поможет нам добыть строительные материалы сверх мизерного лимита? Все знают: подкуп и спекуляция... Что помогает приобрести запасные

части, без которых машинный парк с места не сдвинется? Подкуп и спекуляция. Что поможет приобрести бензин и солярку? Сдать мясо на мясокомбинат? Найти железнодорожные вагоны, лес, солому, нужные породы скота, подрядчика на строительство? Подкуп, спекуляция, коррупция.

О существовании этой сферы хозяйствования все хорошо знают — всех и каждого она хоть и краем, но обязательно касается. Иной раз и пошире откроется в застольных откровениях пьяного председателя или его доверенных лиц. Но охватить ее общие границы — кому сегодня удастся? Кому удастся различить, как сквозь сияющий образ передового колхоза, созданный фотоочерком в „Огоньке“, проступает черный задник экономической нелегалщины, тайных хозяйственных махинаций, скрытого обмана?

Впрочем, от кого скрытого? Разве что от нас, читателей центральной и местной печати, которым эти колхозы подаются как высшие достижения *социалистического* хозяйствования. Но не от райкома партии, — отсюда все границы видны.

Партийные органы хорошо осведомлены о черномыночных операциях — если не по частностям, то в принципе. Где надо, они разрешат обойти запрет, где надо — отвернутся, но как только уровень хозяйственной самостоятельности минует „худенковскую черту“ — так и лапу наложат. Они не боятся черного рынка. Это не страшно, что кто-то с их ведома обходит запреты — лишь бы не стремился их вовсе отменить! Лишь бы не *открытый рынок*, лишь бы не административно-хозяйственная самостоятельность.

В условиях открытого рынка партийной бюрократии нечем будет оплачивать свою государственную политику, неоткуда будет изъять те огромные

средства, которые практически в любых количествах можно получить через систему тарифов, норм, расценок, культивируя *черный рынок* как сферу подконтрольной инициативы.

Чем же *черный рынок* отличается от рынка открытого? В конечном счете тем, что через механизм *черного рынка* финансируется *политика* партийной бюрократии, тогда как механизм открытого рынка в первую очередь подталкивает развитие экономики.

Черный рынок — механизм поддержания стабильности политической системы, ее независимости от экономических законов.

Открытый рынок — механизм поддержания стабильности экономической системы, ее независимости от законов политической жизни.

Или рынок, или социализм. Или стабильность экономическая, или независимая от благосостояния общества стабильная политическая система. А поэтому все разговоры о рыночном социализме — праздное занятие. Наиболее умные представители государства понимают это. Вот почему партийная бюрократия никогда не разрешит широкую аренду земли, вроде той, что открыта корейцам. Вот почему обречен был „эксперимент” Худенко. Вот почему много разговоров, но мало дела вокруг *безнарядной* оплаты труда в сельском хозяйстве и бригадного подряда в строительстве, которые имеют реальный смысл лишь в том случае, если достигнут уровня хозяйственной самостоятельности худенковского совхоза.

Наиболее умные представители государства прекрасно знают, что социалистическая система не тянет, проигрывает в мировом экономическом соревновании с открытым рынком. Это было ясно уже более пятидесяти лет назад — в расцвет нэпа.

Именно этот четко наметившийся проигрыш заставил Сталина понять и изречь то, что непонятно было Ленину: „Нам нужна не всякая производительность труда...”

Но нет, обыденное наше сознание никак не может взять в толк — почему *всякую-то* использовать нельзя? Почему же увеличение производства продукции в три, пять, десять раз не радует власть имущих? Нам кажется, все можно объяснить, все понять... Ну, хорошо, — сидят они над нами, и пусть сидят. Никто на их власть не посягает. Пусть только дышать дадут, узду ослабят... Ведь сами же смогут от большого продукта большую часть иметь... Ведь не все же там, наверху, афони, вроде абрамовского героя, есть же умные, знающие люди, — что же они-то не поймут никак?.. Что же никак не найдут разумную грань между полным отрицанием открытого рынка, написанным на знамени социализма, и его использованием для социализма?

Наше обыденное сознание никак не хочет признать, что в тупик залетели, и все ищет, все ищет, — и, не желая принять истинную причину, ссылается на ложные: мол, во всем воровство виновато — воров бы к стенке!.. да нет, во всем виновато засилье нацменов... ищите причину в бюрократизации, в волоките... вредительство... твердолобая старость... В этих суждениях — надежда найти спасительную частность. Пусть, пусть остаются они наверху, пусть только узду ослабят... Думать о переменах страшно. Перемены — с кровью!

До каких же пор в условиях социалистического государства можно освободить рыночные отношения? А насколько можно, настолько они и освобождены — в рамках черного рынка. Здесь вполне можно положиться на инстинкт самосохранения партийной бюрократии, вполне можно доверять ее

абсолютному нюху на крамолу — экономическую и политическую. Случай с Худенко и показывает, до каких пор можно снять запреты — „худенковская черта” есть крайняя граница экономической свободы в нынешних условиях. Дальше вроде бы никто не заходил, да и на этой черте мало кто побывал. По крайней мере, нам такое неизвестно...

„Эксперимент” Худенко, продолжавшийся всего только два года, принес государству более миллиона рублей прибыли, но сам организатор дела был осужден за то, что не сумел отчитаться документально за семь тысяч рублей, потраченных на нужды управления хозяйством. Смехотворные обвинения! И это несмотря на то, что „соотношение обслуживающего управленческого аппарата к рабочим в экспериментальном хозяйстве составляет 1:40, а в соседнем хозяйстве 1:3,6”⁶⁰.

В десять раз экономнее! Да разве действительная экономия интересует нашу правящую структуру? Это была та наглядная экономия, которая грозила пошатнуть существующий государственный порядок. Обещая миллионы прибыли, Худенко ставил под сомнение систему власти.

Те, кто в порыве реформенного вдохновения разрешили „эксперимент”, в последний момент предали его. Все эти „умные”, широко мыслящие, „знающие” партийные работники, которых мы в своем сознании должны противопоставлять пьяному Афоне, отвернулись от него. Мы хорошо знаем, что без санкции партийных органов ни один волос не упадет с головы крупного хозяйственника. Здесь — санкционировали. Называют и фамилию человека, который вначале поддержал, а потом предал Худенко: член политбюро Кунаев... Нужен был юридический прецедент, чтобы другим неповадно было, — и его создали!..

Слово „эксперимент” я всюду писал в кавычках, потому что какой же это эксперимент? Это как раз естественные хозяйственные отношения, проверенные веками. Все остальное — и есть исторический эксперимент, продолжающийся уже более шестидесяти лет.

IX

Думалось кому-то прежде: социализм — царство светлой справедливости. От каждого по способностям, каждому по труду. Вгляделись, а перед нами грандиозный черный рынок: ты — мне, я — тебе. И способности негде реализовать, и труд остается неоплаченным, и жизнь уходит на суету: где бы чего достать съестного — хоть за тысячу верст, — да наготу не мешком прикрыть. Видим: социалистическую страну не накормить без сорока миллионов частных хозяйств. Знаем: заводы встанут без сырья и материалов, если не помогут ловкие толкачи-снабженцы, специалисты подкупа и спекуляции. Да что там — толкачи: в партийный-то аппарат работать не зазовешь, не подкупая доступом в партийный распределитель, внеочередной квартирой и другими привилегиями и льготами.

О таком ли социализме мечталось? Теперь и партийные теоретики проклинаят того простодушного дурачка, который ляпнул, не подумав: „Уже нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме”. Ладно, коммунизм-то объявить можно. Но жрать-то что при коммунизме будем?

Общеизвестно, что планы по темпам роста сельскохозяйственного производства за прошлую пятилетку выполнены едва на 60%. А дальше — лучше ли? За 1976 год поголовье свиней в стране умень-

шилось. В том же году колхозы и совхозы произвели мяса на полтора миллиона тонн меньше, чем в 1975 году. В начале 1977 года в московских магазинах появилась новозеландская баранина, и слава Богу, время от времени появляется вновь и вновь... Публикуя в начале 1979 года ежегодное сообщение об итогах выполнения хозяйственных планов за предыдущий год, ЦСУ вообще опустило какие бы то ни было данные о производстве мяса, молока, птицы... Плохой знак.

На десятую пятилетку запланирован рост производства мяса на 10-11%, но даже если запланированный уровень чудесным образом будет достигнут, не вырастут ли более быстрыми темпами потребности населения?

Партийные чиновники пытаются компенсировать органические пороки хозяйственной системы хорошо известными им методами административного давления. Десятки тысяч совещаний проходят ежедневно на разном уровне. Но достаточно послушать, что говорится на одном из них — методы одни повсюду. По воле случая — от одного из очевидцев — мы знаем дословно, что говорилось на весьма высоком уровне: выступая в феврале 1977 года на совещании секретарей обкомов партии, посвященном проблемам сельского хозяйства, член политбюро — ныне умерший — Ф. Кулаков высказывался в том смысле, что „три шкуры будет драть с тех, кто недостаточно инициативно подойдет к решению вопроса”, столь своеобразное понимание инициативы было высказано в связи со снижением интереса некоторых хозяйств к посевам гречихи, которое произошло из-за того, что закупочные цены и приблизительно не оправдывали затрат на эту капризную и трудоемкую культуру.

Несколько недель спустя тот же представитель-

ный политик уже на другом совещании заявил буквально следующее: „Мы вопрос ставим так: „Ты не секретарь райкома, если нет овощей в магазинах твоего района...”

Понятно, что по мере приближения идеи от члена политбюро к непосредственному производителю продукта, распорядительный тон будет становиться более резким. Таков административно-феодалный стиль хозяйственной политики во всей его красе.

Но беда в том, что на самом последнем звене бюрократической цепи — разрыв! Крестьянина так не заставишь работать больше, чем он работает, поэтому мы должны серьезно усомниться, что в магазинах страны появится намного больше, чем сегодня, овощей и гречневой крупы. Впрочем, может статься, что появится гречка, но исчезнет, скажем, пшено или еще какой-нибудь продукт, производство которого в какой-то период времени было упущено из личного внимания покойного Федора Давыдовича Кулакова или его преемников...

Иван Никифорович Худенко мечтал в двадцать раз поднять производительность труда в сельском хозяйстве и знал, как это сделать. Знал, как организовать дело, чтобы пять миллионов сельских жителей, которых он предполагал оставить в деревне, — да нет, которые сами остались бы с радостью! — кормили бы досыта всю страну... Все знают, что продовольственная проблема была бы легко решена... но воспитательная атмосфера будет неблагоприятной.

Да какая там воспитательная атмосфера! Кто же верит этим воспитательным лозунгам и наглядной агитации? Совсем не в воспитании дело: дело в том, что *черный рынок* грозит перерасти в рынок открытый, где правящая структура уже не сможет с

такой легкостью распоряжаться произведенным продуктом.

Нет, „нам нужен не всякий рост производительности народного труда. Нам нужен определенный рост производительности народного труда...” Да и вообще не столько производительность народного труда нам нужна, сколько власть распоряжаться произведенным продуктом. И не потребности народа будут определять хозяйственную политику государства. Нет, наоборот, — политика правящего класса будет влиять на потребности людей, давить их и ужимать.

Уже сегодня потребности населения в мясе удовлетворяются лишь наполовину, и распределение мяса в крупных промышленных центрах (таких, например, как Ростов-на-Дону, Одесса и многих других) происходит строго лимитированно по месту работы главы семьи, то есть являет нам, по сути, замаскированную карточную систему.

Сейчас в стране производится в год на душу городского населения сельскохозяйственной продукции на 390 рублей, а покупается продуктов питания на душу населения в Москве — на 547 рублей, в Киеве — на 415 рублей... а в Одессе — на 286 рублей, в Рязани, Тамбове, Перми — и того меньше, — Одесса все-таки центр той южной степной России, которая должна была, по мнению Сисмонди, — и вполне могла бы, по опыту Худенко, переполнить рынки Европы дешевым хлебом⁶¹.

Но если у крестьянина есть приусадебное хозяйство, где он может добрать необходимый продукт, то как быть промышленному рабочему? А все так же. Все с большей настойчивостью и промышленный рабочий выталкивается на черный рынок, понуждается продавать здесь свою рабочую силу, чтобы нормально жить, нормально питаться...

Здесь нужно пожалеть читателя. Это, должно быть, очень утомительно, когда разговор все о питании, все о пище земной, а не о духовной, все о жратве да о жратве, — все взвешивать да сравнивать, кто сколько съедает, кто сколько потребляет, — кто больше, кто меньше. Не голод же, не катастрофа, не война! — сыты ведь, с голоду никто не пухнет и детей рахитичных не так уж много. Сколько же можно на чужой кусок зариться, в чужой рот глядеть, чужое чревоугодие исследовать? Тут всякий читатель скажет: да хватит уж об этом! — и тот, кто от пуза живет, и тот, кто в ниточку тянется. Оба и скажут: не хлебом единым жив человек... Один заявит, указывая барственно, другой — стесняясь, оберегая свое человеческое достоинство, стесняясь нищеты — *нищета унижительна*, собственную нищету лучше не замечать, очень уж горько. „Давайте о другом!“ — скажут оба.

А это и есть — о другом. Это — разговор об унижении, о развращении рабочего человека, который уже сегодня мог бы сделать свою страну изобильной. И не наша вина, что разговор об экономике страны все никак не минует тему элементарного потребления. Тем и живем сегодня, таковы и заботы наши: о куске хлеба заботимся в суете и беспокойстве.

Восемь часов в день должен трудиться рабочий в наше время, чтобы создать все необходимые обществу блага. Шесть или даже пять часов на особо трудных работах. Сорок часов в неделю. Но мы знаем: в стране нет предприятий, где бы рабочие не оставались сверхурочно после двадцатого числа каждого месяца и ежедневно в последние месяцы года. Мы знаем: огромное число рабочих вынуждено искать *левого* заработка, *халтуры* вне завода или стройки.

Во внеурочное время строительный рабочий предлагает населению услуги по ремонту квартир. Во внеурочное время шофер самосвала предлагает населению рейс с грузом песка или гравия. Во внеурочное время его товарищ по цеху разводит в квартире кроликов и выходит с ними на базар, занимая место рядом с крестьянином.

При этом сплошь и рядом продаются не только товар или услуги, но и ворованные по месту основной работы материалы, инструмент, на время украденные механизмы (грузовая машина, украденная на один-два рейса). Да и время-то не всегда неурочное. Сплошь и рядом рабочий научился обманывать начальство, и в цеху, в официальное рабочее время, исполняет левые заказы.

А как же иначе? Если реальный — на руки — заработок промышленного рабочего 150-180 рублей, а мясо на базаре стоит по 5 рублей за килограмм, картофель — по 40-50 копеек, соленая капуста — и та подорожала со временем, когда к ней приценялась Аксинья Егорьевна, и теперь стоит рубль за килограмм и в будни, — как же иначе? Купить в магазине? Но там не дешевле, поскольку с прилавка в магазине — нигде, кроме Москвы, — мясо не купишь — дефицит, а если продавцу *на лапу* давать, обойдется как раз по-рыночному. Картофель, может, и свободно есть в магазине, но две трети выбросишь при чистке. Может быть, поэтому „в снабжении населения картофелем в Баку, Краснодаре, Армавире, Мичуринске, Запорожье доля колхозного рынка занимала 41-48%, в Днепропетровске, Балашове, Одессе — 66-77%...”⁶².

Хорошо, если у горожанина есть родственники в деревне:

„Родным (живущим в городах. — Л. Т.) помогают 21% семей без личных хозяйств и 70% семей с наиболее крупны-

ми хозяйствами... Участие личных подсобных хозяйств сельских жителей в снабжении городского населения продуктами питания (имеется в виду родственная взаимопомощь. — Л. Т.) пока вообще не учитывается, хотя грубые подсчеты показывают, что объем продукции, перемещающейся по данному каналу, сопоставим с оборотом колхозного рынка”⁶³.

А если нет близких в деревне? Если новоиспеченные горожане поторопились выписать в город и стариков, надеясь на лишние метры жилплощади, — как теперь они обойдутся? С базара не проживешь.

Нет, промышленный рабочий или строитель за восемь часов ежедневного труда, оплаченного по существующим нормам и расценкам, не может заработать достаточно, чтобы кормить семью и существовать самому. Чтобы купить мясо через заднюю дверь магазина. Или сапоги у спекулянта. Чтобы дать взятку там, где это требуется для обретения элементарных благ. Не может. И тогда он *вынужден* оставаться в цеху сверхурочно. Или, выйдя из цеха, искать дополнительный заработок на стороне. Или воровать. Или тратить время на производство овощей у себя в огороде... Без этой деятельности вне „планового” рабочего времени, без этой торговли собственным трудом на негласной *черной бирже* ему не прожить. Да и профессиональным политикам не сохранить стабильность системы, не прикупая труд рабочего вне „плановой” системы — то есть на *черном рынке экономики*. (Понятие „плановый” не надо бы вообще противопоставлять черному рынку. Все эти чернорыночные отношения тоже *запланированы*. Только, понятно, кто же придает гласности такие *планы*?)

Сколько же надо платить рабочему, чтобы он мог заработать за восемь часов труда нормальное существование себе и своей семье? Увы, у нас в стране нет сколько-нибудь реального понятия о *стои-*

мости рабочей силы. Экономисты, которые пытались ввести это понятие и проанализировать его, проанализировать движение рабочей силы как товара, неоднократно биты защитниками официальных научных канонов и стали едва ли не самыми распространенными отрицательными персонажами производственных романов и повестей.

Вот только что опубликованное подцензурное свидетельство:

„... Нет ни одной монографической работы, в которой хотя бы предпринималась попытка проанализировать рабочую силу как экономическую категорию в целом и при социализме, вскрыть как материально-вещественное, так и социальное ее содержание.

Не решены еще и многие частные вопросы, в своей совокупности составляющие проблему рабочей силы. Многие из них пока что едва намечены, а некоторые даже не поставлены. Среди последних — вопрос об особенностях рабочей силы в эпоху развитого социалистического общества.

В научной и учебной экономической литературе на этот вопрос имеется один-единственный ответ — она перестала быть товаром. Положение, конечно, бесспорное...”⁶⁴.

Признав это положение бесспорным, и сам обличитель советской экономической науки ни на шаг вперед не продвинулся.

Рабочая сила — товар. И это хорошо знают те, кто стремится взять ее подешевле. Здесь мы можем привести пример, который косвенно покажет нам отношение советского руководства к стоимости рабочей силы. Речь идет о послевоенном восстановлении завода „Запорожсталь”, с которым связана биография Л. Брежнева:

„Многим тогда казалось, что проще и дешевле было бы подорвать уцелевшие конструкции, разобрать их полностью, а затем уже строить завод заново. Так и рекомендовали поступить специалисты из ЮНРРА — международной организации, занимающейся помощью странам, которые пострада-

ли от фашистского нашествия. Побывав в Запорожье, они в один голос заявили, что восстановить разрушенное вообще невозможно, а если кто и решится на подобный эксперимент, то потратит на это больше средств, чем на строительство нового завода. Однако страна остро нуждалась в тонком холоднокатаном листе, производство которого должна была обеспечить первая очередь „Запорожстали”, и советские люди опрокинули все прогнозы и предсказания иностранных специалистов”⁶⁵.

Позвольте, да какие же прогнозы опрокинулись?! Попросту вопрос *дороже* или *дешевле* снимается. Нужно! Потратили больше средств, чем на строительство нового завода? Да каких средств-то? Рабочая сила почти бесплатная ведь.

Иностранные специалисты вообще очень часто попадали впросак, оценивая те или иные экономические возможности нашей страны. Они исходили из факта определенной стоимости рабочей силы. Между тем стоимость рабочей силы в стране на практике оценивается весьма приблизительно и субъективно в зависимости от того, как правящий класс понимает общественную необходимость. Общественно-необходимая норма удовлетворения индивидуальных потребностей в некоторых случаях может понижаться до бесконечности, до лагерной пайки. Оставим при этом в стороне тот аргумент, что, мол, „страна остро нуждалась”. После войны все страны остро нуждались, и восстановление хозяйства, скажем, в Западной Германии шло не менее высокими темпами, хотя там рабочая сила — товар отнюдь не самый дешевый. А может быть, как раз поэтому?

Не только в годы послевоенной разрухи, но и до сих пор, будучи полновластными распорядителями *черного* рынка, хозяйственные руководители страны вынуждают рабочего продавать свой труд за бесценок, вынуждают его работать значительно больше

восьми часов. Причем, приобретая сверхурочный труд рабочего, высокопоставленные покупатели так являют дело, что нам кажется, будто бы это сам рабочий плохо работал положенные восемь часов и теперь должен наверстывать упущенное, поскольку „страна нуждается“. Достигается это при помощи все тех же норм и расценок: за все труды ему платят столько, сколько должны бы заплатить за восьмичасовой рабочий день. Не останешься сверхурочно — не проживешь. А все попутные лозунги о нуждах страны — это, чтобы суть прикрыть. Если бы действительно нужды страны в расчет брались, все хозяйство иначе организовано было бы.

Нет, производительность неоплаченного труда расти не хочет. Щедрость и многотерпение рабочего не бесконечны. И если рабочую силу регулярно использовать, не возмещая ее общественной стоимости, человек начинает работать значительно ниже своих возможностей. Именно это и происходит у нас в стране, причем так явно, что даже партийные чиновники заметили этот процесс:

„Довольно много руководителей указали на то, что за последние 10-15 лет изменилось отношение работников к труду. Если критические высказывания о технико-экономических аспектах производства единичны, то об отношении работников к труду доля критических высказываний значительно выше“⁶⁶.

Эта обратная связь — пожалуй, самая важная черта сегодняшней экономической реальности...

Похоже, что рабочий и крестьянин живут сегодня почти одинаково. Но если жизнь крестьянина мы смогли хоть как-то проанализировать, используя данные и цифры открытой советской печати, то никакой серьезный анализ положения рабочих нам недоступен. Один остроумный француз заметил:

„Рабочий мир настолько утратил свою индивидуальность, что из всех слоев советского населения о нем мы знаем меньше всего. Нам известны подробности жизни в лагерях, но жизнь на заводах остается почти полной тайной”.

И это резон сказать не только французскому советологу, но и нам, жителям городских кварталов, вплотную примыкающих к заводским корпусам.

Нигде не найдете вы статистики сверхурочных работ в промышленности и строительстве. Сами эти сверхурочные работы тщательно скрываются. Еще бы! Ведь партийная бюрократия хоть как-то, хоть косвенно может признаться, что крестьянство принесено в жертву интересам пролетарского государства, но кому в жертву отдан сам рабочий, от имени которого правящая структура руководит страной?

Да нет, не в том беда, что социализм выглядит не так, как мечталось, может ли он вообще выглядеть иначе? Беда в том, что перед нами безрадостная хозяйственная перспектива. Посвящая многочасовые говорения на пленумах ЦК партии тому в конечном счете, как повысить производительность плохо оплаченного труда, Брежнев никогда не забывает сказать о необходимости для крестьян, а в последнее время и для рабочих, вести приусадебное хозяйство. Но нет, личные хозяйства рабочих и колхозников, с их техникой, переделанной из миксеров и пылесосов, с их ворованными строительными материалами, не поднимут сельского хозяйства страны. Делая ставку на дальнейшую интенсификацию приусадебных хозяйств, правящая структура вновь устраняется от необходимости радикальных перемен в экономике. Страна нуждается не в „Товариществе огородников и садоводов”, а в развитой аграрной индустрии, где сполна оплачивался бы весь общественно необходимый труд... Впрочем,

здесь разговор о нуждах страны заставит нас повторять то, что сказано выше.

Простимся с Аксиной Егорьевной.

Ее портрет сняли с Доски Почета. Она свое отработала.

В апреле я, сколько мог, следил за ее домом, старался отвести весенние ручьи, чтобы не залило подвал, даже и в сам подвал слазил, посмотрел, не сочтется ли где, а как сошел снег и прошла большая вода, поставил рухнувший было плетень, ограждавший ее огород со стороны улицы, — думал все, что кто-то из ее дочерей приедет либо дом продавать, либо еще напоследок огород засадить.

Но не знаю, как это бывает, а без хозяина дом и вправду сирота. То ли я плетень плохо поставил, то ли еще где были дыры, но на участке стали появляться ежедневно чьи-то голодные овцы, бродячие свиньи и целый выводок шумливых гусей. Никто из родственников не ехал, и я уже с печалью предвидел, как на будущий год участок зарастет сорняками, амбар покосится и через огород мальчишки протопчут дорожки по всем направлениям... Но все оказалось иначе.

В середине апреля ко мне пришел колхозный скотник, — он хоть и жил через улицу, но мы были мало знакомы. Я знал только, что у него восемь человек детей — и всех этих мальчиков и девочек я всегда отличал от других деревенских ребятишек, но не мог отличить друг от друга, такие они все были рыжие и веснучатые, — в отца.

— Вы на участок претендуете? — спросил он.

— На какой?

— На Оксин.

— Нет, не претендуем.

— Тогда я его займу, что ли, — как бы безразлично заметил он. Но уходя не выдержал безразличного тона. — Земля тут больно хороша. Раньше конный двор был — на два метра унавожена. Оксе повезло в жизни... Тут картошка пойдет, — и он вышел радостный, что ему досталась такая земля, что ему тоже повезло в жизни.

Москва

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Второй Всесоюзный съезд колхозников-ударников. Стенографический отчет. 1935, с. 1.

2. Г. В. Дьячков. Общественное и личное в колхозах. М., 1968, с. 22.

3. „Закон о сельскохозяйственном налоге” от 1 сентября 1939 года, ст. 34 б.

4. Г. И. Шмелев. Личное подсобное хозяйство и его связи с общественным производством. М., 1971, с. 11.

5. Л.-И. С. Вилимавичус. Личное подсобное хозяйство при социализме, его место, роль и тенденция развития. Автореферат диссертации. 1976, сс. 3, 19.

6. В. И. Шубкин. Социологические опыты. М., 1970, с. 78.

7. Г. И. Шмелев. Личное подсобное хозяйство..., с. 11.

8. В. Солоухин. Трава. — Журн. „Наука и жизнь”, № 10, 1978.

9. Г. И. Шмелев. Личное подсобное хозяйство..., с. 26.

10. И. В. Сталин. Сочинения, т. 12, с. 79.

11. Второй Всесоюзный съезд..., с. 1.

12. И. Сталин. Вопросы ленинизма. Изд. II. ГПИ, 1952, с. 626.

13. Ж. Симон де Сисмонди. Новые начала политической экономии... М., 1936, сс. 269-270.

14. См., например: „Коллектив колхозников”. Социально-психологическое исследование. М., „Мысль”, 1970, с. 110.

15. А. П. П л о т н и к о в. Отношения сельского хозяйства с перерабатывающей промышленностью и торговлей. М., 1973, с. 51.

16. М. И. С и д о р о в а. Возмещение необходимых затрат и формирование фонда воспроизводства рабочей силы в колхозах. М., 1972, с. 187.

17. А. С. С т а м к у л о в. Приусадебное землепользование. Алма-Ата, 1972.

18. В. И. С т а р о в е р о в. Город и деревня. „Политиздат”, 1972, с. 80.

19. Б а й к о в а и д р. Свободное время и всестороннее развитие личности. М., 1965, с. 237.

20. В. И. С т а р о в е р о в. Преодоление существенных различий между городом и деревней как составная часть задачи построения социально однородного общества. „Социологические исследования”, 1975, с. 51.

21. Там же.

22. По расчетам специалистов Госплана СССР, затраты труда на производство центнера картофеля в личных подсобных хозяйствах составляют сейчас 2,8 человеко-дня. Газета „Известия” от 14 января 1977 г.

С 30-40 соток приусадебной земли получают урожай около 50 центнеров... В весьма благоприятных условиях Хмельницкой области тратится в приусадебном хозяйстве на производство одного центнера молока — 3 человеко-дня, на откорм головы крупного рогатого скота — 45,5 человеко-дня. См. В. А. Б е л я е в. Личное подсобное хозяйство при социализме. „Экономика”. М., 1970, с. 95.

23. В Новосибирской области, которая ничем не выделяется среди других сельскохозяйственных областей страны и вполне может быть принята за среднестатистическую, „в 1972 г. по сравнению с 1967 г. средняя продолжительность рабочего дня (в колхозах и совхозах. — Л. Т.), по оценкам работников, выросла зимой с 7,8 часа до 8,4, летом с 8 до 9 часов. Доля работающих 8-11 час. возросла с 30 до 55%, а свыше 12 час. — вдвое... в 1972 г. нормальный рабочий день имела лишь 1/3 работников, в то время как остальные 2/3 в той или иной мере перерабатывали”. Р. В. Р ы в к и н а. К изучению основных направлений урбанизации образа жизни сельского населения. См. в книге „Современная сибирская деревня”. Новосибирск, 1975, ч. 1, с. 36.

24. В. А. Б е л я е в. Личное подсобное хозяйство при социализме, сс. 81, 93.

25. „Развитой социализм” подобного типа уходит корнями своими в „далекую историю”: факты языка показывают, что древний источник рабства находится в связи с семейным правом. Слово „семия” (по словарю Востокова) означает рабы, домочадцы... Термины: ... раб (робя, робенец, ребенок) х о л о п (в малор. хлопец — мальчик, сын) одинаково применяются к лицам, подчиненным отеческой власти, так и к рабам”. М. Ф. В л а д и м и р с к и й - Б у д а н о в. Обзор истории русского права. Цит. по кн. акад. Б. Д. Г р е к о в а „Крестьяне на Руси”, с. 132.

26. Комментарий к примерному Уставу колхоза. „Юридическая литература”. М., 1972, с. 239.

27. П. Ш е л е с т. Одна сельская семья. (Штрихи к социальному портрету сельского рабочего 70-х годов). „Советская Россия”. М., 1972, с. 79.

28. Газ. „Известия” от 4 января 1977.

29. И. В. С т а л и н. Ответ товарищам колхозникам. Вопросы ленинизма. Изд. II, с. 351.

30. Б С Э, I изд., т. 33. „Коммуна сельскохозяйственная”.

31. Впрочем, не только в деревне и не только хозяйственное — никакое объединение людей по общему интересу невозможно. Пример тому: многолетняя безуспешная борьба молодежи с партийными властями за „клубы по интересам” — объединения, увеличивающие если не интенсивность общественного труда, то уж по крайней мере интенсивность общественной мысли, общественной жизни... Такие клубы разрешены лишь при тщательном мелочном контроле со стороны партийных, комсомольских чиновников. Но даже при такой разработанной идейно-фискальской системе удержать клубы под непрерывным идеологическим давлением трудно: молодежь стремится к самостоятельности мышления, — и тогда клубы распускаются, а их организаторы подвергаются идеологическим, а иногда и административным репрессиям... Понятно, что удержать под контролем хозяйственные объединения было бы сложнее.

32. К. М а р к с. Капитал. Т. 1. „Госполитиздат”, 1963, с. 707.

33. И. В. М а к а р о в а. Личное подсобное хозяйство сельского населения в перспективном экономическом и социальном планировании. Целиноград, 1975.

34. „... 52,9% обследованных лиц в течение недели каждый день в среднем расходовали на ведение домашнего хозяйст-

ва более 5 часов. Две трети из этого числа составляют женщины... 49,4% обследованных мужчин и 47,3% женщин в течение недели каждый день трудились в подсобном хозяйстве. При этом в общем числе лиц, ежедневно затрачивающих на работы в подсобном хозяйстве от 2 до 5 часов, мужчины составляют ровно половину". В. Т. К о л о к о л ь н и к о - в а. Брачно-семейные отношения в среде колхозного крестьянства. „Социологические исследования", № 3, 1976, с. 84.

35. „Мелкий производитель гонит на работу детей с более раннего возраста, работает большее число часов в день, живет „бережливее", урезывает свои потребности до того, что в цивилизованной стране выделяется как настоящий „варвар"... Л е н и н (соч., III изд. т. 2, сс. 468-469) здесь комментирует Каутского и Маркса. Многое из того, что Каутский сто лет назад писал о западноевропейском крестьянстве, особенно о мелких хозяйствах, применимо сегодня к крестьянству советскому, социалистическому, которое выше уровня вековой давности так и не поднялось. Точная мысль Каутского подсказала мне и название этой работы: „Крестьянское искусство голодать может вести к экономическому превосходству мелкого производства".

36. М. С. Б е д н ы й. Продолжительность жизни в городах и селах. М., „Статистика", 1976, сс. 46 и 73.

37. В сознании обывателя любой пациент психиатра — не человек, но нелюдь. Его судьба может вызвать любопытство, но уж никак не жалость, не сочувствие. Именно на этом и строится политика властей, когда они заключают в психушки инакомыслящих — пусть хоть и совершенно здоровых людей.

38. Миграция сельского населения. М., „Мысль", 1970, с. 313.

39. Там же, с. 312.

40. М. С. Б е д н ы й. Продолжительность жизни в городах и селах, с. 31.

41. Миграция сельского населения, с. 298.

42. В. И. С т а р о в е р о в. Социально-демографические проблемы деревни. М., „Наука", 1975, с. 128.

43. И. Т. Л е в ы к и н. Теоретические и методологические проблемы социальной психологии (на опыте изучения психологии колхозного крестьянства). М., „Мысль", 1975, с. 85.

44. П. Ш е л е с т. Одна сельская семья..., сс. 97, 75.

45. Там же.

46. Миграция сельского населения..., с. 311.

47. См., например, И. Т. Л е в ы к и н. „Аграрные преобразования и изменения психологии советского крестьянства” в кн. „Проблемы аграрной политики КПСС на современном этапе”. М., Политиздат, 1975, т. 2, с. 373. (Да уж самые славословные авторы очень любят вставлять в название работ и книг слово „проблемы”, хотя непонятно, какие могут быть проблемы, если 95% опрошенных всегда всем довольны?)

48. Г. В. Д ь я ч к о в. Общественное и личное в колхозах, с. 57.

49. Там же. Высокомерная позиция не пристала. Нам все прилично. Тем более, что этот рынок, существующий побочно от плановой экономики, является своего рода „приусадебным хозяйством” для миллионов горожан... У нас будет время вспомнить об этом еще раз, но, увы, подробное рассмотрение уведет нас от нашей главной темы, от крестьянского искусства голодать.

50. М. С. Б е д н ы й. Продолжительность жизни в городах и селах, с. 46. Цитируя, я позволил себе исправить явную опечатку. В книге последняя фраза выглядит буквально так: „Характерно то, что в этом возрастном периоде нет ни одной причины смерти, которая имела бы более низкие показатели в городах, нежели в сельской местности”. Очевидно, что речь идет как раз о том, что в городах эти показатели *более низкие*, — что ясно из цифр, приведенных в предыдущей фразе самим автором, и из таблицы на стр. 43 цитируемой брошюры. Или здесь специфическая терминология мед. статистики?

51. Ж. Симон де С и с м о н д и. Новые начала политэкономии, с. 277.

52. Г. В. Д ь я ч к о в. Общественное и личное в колхозах, с. 38.

53. Г. А н т о н о в а. К вопросу о перспективах существования личного подсобного хозяйства населения... М., 1975.

54. „О продаже и ценах на колхозном рынке”. М., 1975.

55. Р. В. Р ы в к и н а. Мнения руководителей сельского хозяйства о происшедших и будущих изменениях деревни. См. в кн. „Современная сибирская деревня”. Новосибирск, 1975, ч. 2, с. 92.

56. Там же, с. 100.

57. Программа КПСС, с. 65.

58. „Социологические и экономические проблемы образования”. „Наука”, 1969.

59. „Литературная газета” от 18 ноября 1970.

60. Там же.

61. Приведенные материалы опубликованы в специальном издании „О продаже и ценах на колхозных рынках”. М., 1975. Я уже цитировал эту брошюру-справку, но именно здесь уместно сказать, где ее найти: в спецхранах Центральной научной сельскохозяйственной библиотеки. ДСП № 3762.

62. Там же.

63. Т. П. А н т о н о в а. К вопросу о влиянии размеров личных подсобных хозяйств на занятость сельского населения, досуг и материальное потребление. См. в кн. „Современная сибирская деревня”, ч. 1, с. 140. ...И это все с тех же полутора-двух процентов пахотной земли!

64. Б. Л. Ц ы п и н. Рабочая сила и ее особенности в период развитого социалистического общества. М., 1978, с.5.

65. „Леонид Ильич Брежнев”. Краткий биографический очерк. М., 1976, с. 47.

66. Р. В. Р ы в к и н а. Мнения руководителей сельского хозяйства..., с. 95.

Игорь Огурцов по его письмам к родным

Игорь Вячеславович Огурцов — один из основателей Всероссийского Социал-Христианского Союза Освобождения Народа. В 1967 г. Огурцов был арестован, и в том же году в Ленинграде состоялся суд, который приговорил его к 20 годам лишения свободы — 7 годам тюремного заключения, 8 годам лагерей и 5 годам ссылки. Первый период заключения Огурцов отбывал во Владимирской тюрьме. В 1974 г., когда истек срок тюремного заключения, Огурцов был переведен в один из Пермских лагерей. Но спустя три недели его поместили в изолятор Пермской городской тюрьмы, откуда перебросили в Мордовию, в психиатрический изолятор лагерной больницы. К концу 1974 г. Огурцов снова был отпущен в лагерь, где и пробыл до середины 1979 г., а затем заключен в Чистопольскую тюрьму. После краткого пребывания в Ленинградском КГБ (с целью „перевоспитания”), его вернули в Чистопольскую тюрьму, где Огурцов и находится по сей день. Физическое состояние И. В. Огурцова ужасное, но дух бодрствует.

Из программы ВСХСОН;

„Причина... опасного напряжения в мире лежит гораздо глубже экономической и политической сфер. Миру необходимо духовное возрождение. Только обновленный дух человечества откроет новые цели политики, направит ее ко благу человечества и укажет пути к свободе и удовлетворению материальных потребностей всех народов”.

„... Социальное христианство утверждает свободу человека, святость семьи, братские отношения между людьми,

Подборка писем И. В. Огурцова сделана В. Васильевым. Мы публикуем часть ее, касающуюся литературы. — Р е д ..

единство всех наций. Социал-христианство — это персоналистическая экономика, политика, культура, в основу которых положены законные права и интересы человеческой личности”.

Р е д.

В поединке между музыкой и литературой победила последняя, и Игорь много внимания и сил отдавал и отдает литературе. Часто высказывал он в письмах о ней свои мысли.

В письме от 10 сентября 68 г. он писал:

„... Мне хотелось бы в ряде писем поделиться с вами моими мыслями о *совершенном писателе*, о том, что он вносит в жизнь, для чего творит и как понимает свое творчество, чем он должен обладать от природы, начиная от совершенно особой остроты своих чувств, которыми он постигает внешний материальный мир, остроты, граничащей с прозрением и ясновидением, гармоничного развития его психического мира, от полюса до полюса, остающегося при всех его крайностях в совершенном равновесии, до универсальности его интеллекта, способного осуществлять как тончайший анализ, так и всеобъемлющий синтез мира явлений, до его совершенной нравственности и полноты духовного развития; наконец, что он должен *знать, уметь и пережить* лично, а также, какие условия жизни обуславливают его творческое развитие и дают ему возможность стать явлением национальной и мировой культуры”.

В письме от 9 октября 68 года Игорь продолжает:

„... я начну с того, что вносит в жизнь писатель мирового значения, что пробуждает его к творчеству и какой смысл имеют его творения.

Если среди многих великих имен назвать только

шесть — Гомера, Данте, Шекспира, Сервантеса, Гете и Толстого, имеющих совершенно исключительное значение, то становится отчетливо видно, что появление каждого из них составило целую эпоху в мировой духовной культуре. Не все они в равной степени воплощали идеал совершенного художника, а у некоторых были весьма очевидные слабости, но на их долю выпало создать более или менее целостный образ мира, который их современники или даже целые поколения до них видели лишь отрывочно, неярко, несовершенно, в рамках своего ограниченного индивидуального кругозора.

Художник, разрешающий подобную духовно-историческую задачу, является универсальной личностью (естественно, с учетом мировой эпохи); в своем расширяющемся до границ целой вселенной сознании он созерцает мир в его многообразии, противоречии и единстве, и в этом акте созерцания поневоле отрешается и утрачивается ограничивающее и искажающее эгоистическое отношение к миру. Подобное возвышенное созерцание является великим творческим процессом, который возможен только при полном напряжении всех способностей и духовно-душевных сил человеческих.

Это созерцание, „наблюдение” за сокровенным, исполняющим великие тайны бытия, и есть отражение мира, копирование его, или подражание природе, оно есть подражание самим творческим, создающим мир природы силам, сопричастность им. В своем творчестве художник находится на грани сознания и сверхсознания, его обычное сознание освещается „потусторонним” светом сверхсознания, его воля перестает быть человеческим произволом.

В творческом акте он видит мир внутренним взором Демиурга. Вот почему часто он удивляется

собственному творению и благоговеет перед ним, вот почему оно не поддается полному контролю его сознательной воли.

Прямым следствием этого является тот бесспорный факт, что истинный художник не только не может творить по чьему-либо заказу, но что его произведение подчиняется законам, которые вне его собственной воли.

В Библии есть рассказ о том, как знаменитый заклинатель Валаам был нанят за большую плату одним из племен, чтобы он обеспечил им при помощи магии победу над противниками.

В день битвы Валаам поднимается на холм среди поля сражения и, обратившись лицом к врагам своих клиентов, начинает проклинать. Однако на их стороне высшая сила, и с уст желающего проклинать мага Валаама срываются благословения. Честно выполняя условия договора, он проклинает, а уста его благословляют, следуя высшему закону.

Так и истинный художник. Даже если бы он хотел продать свое вдохновение, оно не поддается такому насилию.

По этому поводу *Пушкин* как-то говорил, что когда он работает над произведением, никакие посторонние соображения не могут оказать на него как на художника ни малейшего влияния, но когда вещь готова, то что мешает ее продать?

Итак, художник, до тех пор, пока он им остается, служит орудием Истины. Только это и является основанием той высокой общечеловеческой оценки, которая дается труду писателя. И чем больше произведение отвечает этому главному условию, тем оно значительнее, независимо от своего конкретного содержания.

Тот факт, что писатель в акте художественного созерцания становится сопричастным мировым

творческим силам и тем самым через его творчество проявляется истинная действительность, означает, что искусство есть религиозное дело в самом широком смысле.

Иначе и быть не может, ибо духовное творчество имеет своим источником высшую последнюю реальность, которая недоступна нашим рациональным способностям по своей сущности. И об этом же свидетельствует пример всех великих художников и, можно добавить, всех великих ученых. Исключений нет.

Безрелигиозное творчество имеет тот же смысл, что и словосочетание „живой труп”, безрелигиозность есть признак вырождения и подмены творчества фальшивыми изданиями. Все сказанное, однако, вовсе не означает, что произведение должно быть посвящено религиозной тематике или что писатель должен обязательно сознавать свою принадлежность к той или иной религии или Церкви.

В XIX столетии — самом богатом великой литературой и самом психологическом — много рассматривался вопрос о том, что является побуждающей причиной к творчеству и какой смысл и значение оно имеет. И до сих пор еще противоборствуют две, по видимости лишь противоположные, точки зрения. Согласно одной, писатель, повинаясь и удовлетворяя собственный инстинкт творчества, пишет для своего развлечения и удовольствия; бесстрастный, он создает „чистое искусство”, чуждое страстям и сражениям исторической эпохи.

Этой точке зрения крайнего буржуазного индивидуализма противостоит взгляд на писателя как борца, выполняющего социальный заказ своего класса или группы, как и всякого другого солдата или работника, отличающегося лишь некоторыми специфическими способностями.

Конечно, считать писателя функционером класса или партии означает неумение отличать литературу от агитации и пропаганды.

Подлинно гениальные произведения могут помогать делу того или иного класса или партии, но не потому, что художник поставил себя им на службу, а лишь потому и постольку, поскольку их дело — истинное и правое, и только до тех пор, пока дело обстоит именно так, а не иначе.

Обращает на себя внимание, что русским писателям было присуще особенное понимание призвания к искусству слова. Неоднократно и у очень разных поэтов и писателей выражено сознание высокой миссии литературы как общественного служения. У Некрасова и Гоголя, Достоевского и Толстого одна и та же мысль.

Пушкин, по праву первый русский поэт и создатель нашего литературного языка, прямо говорит, что поэт — пророк, его миссия — профетическое служение. Сразу же вслед за Пушкиным об этом говорит Лермонтов. И совершенно созвучно с этим самосознанием наших великих национальных поэтов, имеющих всемирное значение, проявляется эта идея у поэта и глубочайшего философа нашего Владимира Соловьева, там, где он пишет о духовных основах организации общества, различая три необходимых взаимоограничивающих и взаимодополняющих рода власти: светскую (государственную) власть, власть теократическую (нравственный приоритет Церкви) и власть профетическую, гражданскую, пророческую (самую свободную), которую он видит воплощенной в великих национальных поэтах. Особенность и ценность этой власти слова, по Соловьеву, — в ее ясновидящем вдохновении и пророческой независимости”.

Письмо от 8 ноября 1968 г.:

„В прошлом письме я поделился некоторыми мыслями об условиях творчества совершенного художника-поэта.

Сегодня я продолжу эти размышления, которые будут касаться натуры самого писателя.

Итак, творчество истинного писателя является религиозно-гражданским служением, подвигом, и ему всегда присуще сознание ответственности, которой требует эта миссия.

Бальзак пишет о „законе писателя”:

„То, что его делает таковым, то, что ставит его — я не боюсь сказать это — на равную высоту, а может быть, выше государственного человека, — это суждение о делах человеческих и отношениях, абсолютная преданность принципам. У писателя должны быть определенные политические и моральные убеждения, он должен смотреть на себя как на учителя людей”.

Посвящая себя высшему служению, писатель внутренне созидает свой мир, который вместе с тем обладает объективной ценностью и значением. В процессе созидания этого мира он постигает смысл и связь внешних явлений, которые он лично пережил или о которых имеет достоверное знание, проводит сквозь разорванные впечатления великое целое, осознает психические, ментальные и высшие духовные законы, открывающиеся человеку; таким образом, он раскрывает, строит и совершенствует себя как личность. Эта работа над собой столь же естественна и необходима писателю (и любому художнику), как органический рост, как любая другая жизненная функция, с той лишь разницей, что это протекает при активном участии двух высших человеческих способностей: ума и воли; она совершается в ярком свете сознания и при мощном

волевом напряжении. Органичность этого процесса творчества объясняет тот факт, что писатель работает даже и в том случае, если современники не понимают и не читают его или если он не имеет контакта со своими читателями по каким-либо другим причинам.

Быть писателем есть его способ существования в мире (я не имею в виду здесь материальную сторону). Нет необходимости оспаривать ту бесконечно вульгарную теорию, согласно которой писать может всякий, умеющий писать.

Художник является и осознает сам свою исключительность в определенном смысле. Чем ближе к истинному типу совершенного художника стоит писатель, тем громче подает голос его призвание, тем больше и сильнее общие и специфические качества, которыми он наделен от природы, тем сильнее потенции его личности, требующие актуализации и составляющие целый всеобъемлющий комплекс. От совершенного художника требуются не только природные качества, но и те, которые достигаются сознательно с участием свободной воли, в тяжелой и, может быть, иногда смертельной внутренней и внешней борьбе.

Конечно, люди — конкретные исторические писатели — обладали этими качествами в очень различной степени, так же, как различны были их таланты или их гениальность. Когда *Ромэн Роллан* писал о *Толстом* как о художнике, то он заметил, что даже органы чувств у него были совершенны, его зрение было много острее, чем у средних людей. Правда, он, может быть, не превосходил в остроте зрения индейца-охотника, но у художника дело не только в совершенстве органов чувств как аппарата для восприятия, дело в связях этого аппарата с сознанием: „видит” не глаз, „слышит” не ухо, они —

лишь средства для контакта нашего „Я” с миром.

Для художника важна глубина впечатлений. Раздражение, уловленное с возможной остротой и точностью, должно передаваться так глубоко, чтобы вспыхивал сокровенный свет, в котором становится яснее подлинная реальность сущего. В этом смысле можно говорить о мистической остроте чувств и впечатлений.

Ухо, в данном случае, служит лучшим примером: человек может обладать сколько угодно хорошим слухом, но будь начисто лишен музыкального слуха, который позволяет уловить возвышенную Красоту там, где другие слышат только невыносимый шум и скрежет, никогда ее не уловит.

Эта яркая впечатлительность, которую, в отличие от обычных людей, художник сохраняет почти на всю жизнь, а не только в детстве, дает возможность ощущать мир как вечную новизну, как первозданный, видеть его непосредственно и быть с ним один на один (способность, без которой нет художника!).

Психика, душевный мир художника должны вмещать в своем диапазоне все, от полюса до полюса, при том, что и все отдельные чувства его должны быть развиты до предела, ибо иначе из поля зрения его ускользнут звенья реального мира, так как мы не способны видеть вне себя то, что отсутствует совершенно в нас самих.

Малоталантливые, малоодаренные писатели видят мир убогим и пошлым, таким, каким они его имеют в самих себе, не видя его подлинной красоты, так же, как и его подлинной трагичности, не видят его настоящих пределов: серость без конца или абсолютный мрак за пределом этой серости. Но развитые до высокой степени и охватывающие весь духовный мир, от полюса до полюса, чувства

представляют страшную в своей слепоте и яростной силе стихию противоборствующих энергий.

Художник, подобно герою всех древних мифов, должен выйти здесь победителем. Из этого первобытного хаоса должен быть сотворен светлый мир. Вместе с развитием чувств должен работать ум, просвещающий их и организующий в иерархический строй.

Необходимо равновесие и гармоничность всех душевных сил, воля должна руководить ими, направляя к сознательной и высшей цели.

Уже *Бальзак* указал на универсальность ума совершенного художника соответственно универсальности его задач; все стороны и ступени жизни — от бытия минералов и растений до человека, человеческого общества и сверхчеловеческого — как бы переживаются им и постигаются его умом. Универсальность ума совершенного писателя, способного постигать весь мир, его связи и сокровенный смысл, означает и его абсолютную зрелость, которая наступает только тогда, когда ум, сознающий свое единство с Мировым Разумом и свою космическую силу, „видит” свои пределы и может „свидетельствовать”, что за этими пределами есть Нечто, что выше его самого, то есть свидетельствовать о бытии Духа.

Ум, достигающий зрелости, всегда свидетельствует о бытии Духа и сознает, что не может „знать”, вместить Духовное, но лишь может знать о Его существовании, и это есть высочайший акт, апофеоз ума, достигаемый после длительного усилия и страстного устремления в мгновения предельного напряжения.

Надо сказать, что ум писателя, в противоположность аналитическому уму ученого, должен обладать преимущественно синтетическим характером.

Карлейль в своей замечательной книге „Герои, почитание героев и героическое в истории”, в главе „Герой как писатель”, пишет, что настоящий большой ум в конечном счете неотделим от нравственности, хотя это не прослеживается легко и непосредственно.

Нравственный облик писателя должен быть безупречным. Ибо на нравственности его базируется все остальное: ум, душа, дух. Недаром все религии мира практикуют очищение сердца как необходимую ступень для всех высших достижений.

Можно себе представить, что это будет за писатель, если он не обладает хотя бы одной из семи основных христианских добродетелей, в которые входят четыре добродетели древних: мужество, справедливость, воздержание и мудрость и три собственно христианских: вера, надежда и любовь.

Роль любви в творчестве хорошо отметил *Флобер*, сказав: не полюбишь — не напишешь.

Глубокое исследование этого вопроса есть у *В. Соловьева*, где он пишет об истинных, а не внешних причинах, приведших *Пушкина* так же, как и *Лермонтова*, к трагической гибели.

Нравственность художника имеет первостепенное значение еще и потому, что он не только изображает мир, но судит его. В мировой литературе есть немало произведений, которые, хотя и написаны искренне и талантливо в своем роде, действуют на читателя отравляющим образом; причина этого — в нравственном несовершенстве писателей, которые давали извращенный образ мира.

Совершенному художнику дано знать откровение Духа. Он обладает той способностью духовного созерцания, которую индийские йоги называют самадхи. Корни мира сокрыты в духовной почве, и только в Духе можно получить истинное знание о мире;

все остальное „знание” — или смутное, или относительное.

Хуже всего абсолютизация ощущений, чувств, ума, материи, т. е. того, что по природе своей не абсолютно, а ограничено и конечно. В этом случае мир предстает в ложном виде, и жизнь с таким сознанием, ученье и действия становятся пагубными.

Слепец ведет слепца, и оба упадут в яму. Совершенный художник знает, куда он ведет; он может сказать вослед за пророком: „Лицо мое, как камень, да не постыжусь вовек”.

Альберт ОПУЛЬСКИЙ

Проблема художественности русских житий и ее изучение

Жития святых едва ли не самая распространенная литература Древней Руси, активно пропагандируемая христианской Церковью и охотно принимаемая паствой.

Первые жития появились еще в Римской империи, где они выполняли роль мартирологов, то есть кратких рассказов о христианских мучениках. Их каноническая форма складывалась на почве Византии; наиболее характерный образец таких житий — „Житие Антония Великого”, написанное в IV веке Афанасием Александрийским¹.

На Руси переводы житий распространились с принятием христианства. К этому времени (конец X в.) уже были выработаны определенные строгие схемы жанра, восходившие к древнегреческим биографиям Плутарха, римским — Тацита и др. Эти схемы жития сохранили и на русской почве.

Уже в XI в. здесь были широко известны „Четы Миней” (сборники пространных житийных текс-

Это первая глава исследования, рассматривающего влияние житийной литературы на творчество русских писателей. В дальнейшем мы намерены продолжить публикацию глав из этой работы. — Р е д.

тов, предназначенных для чтения), а в XII в. появились „Прологи” (сборники сокращенных текстов житий, так сказать, краткие формуляры святых). И в „Минеях”, и в „Прологах” жития располагались в календарном порядке дней памяти святых. Несколько позднее появились „Патерики” — сборники избранных житий; в них жития могли располагаться самым различным образом.

Уже в ранние редакции житийных сборников, наряду с биографиями греческих святых и святых южных славян, входят жития святых русских — Бориса и Глеба, Феодосия Печерского, княгини Ольги, князя Мстислава. В отдельных списках в XI-XII вв. известны были жития Антония Великого, Николая Чудотворца, Иоанна Златоуста, Алексея — Человека Божия, Василия Нового, Саввы Освященного, Андрея Юродивого.

Жития как биографии духовных и светских лиц, канонизированных Церковью, есть в сущности повествования о случаях практического применения теоретических христианских истин. Недаром один из образованнейших церковных деятелей и религиозных писателей архиепископ Антоний Смирницкий (1773-1846 гг.) писал, что

„... тот много драгоценного не читал, кто не читал Четьи-Минеи, то есть жития святых. Ибо здесь изящные добродетели являются в светлых образах; здесь блистает в примерах евангельская истина, здесь примеры, к святой жизни приводящие... Чтение житий угодников Божиих заключает все, нужное к спасению нашему, к счастью временному и блаженству вечному. Жизнь святых научает нас, каким образом исполнять заповеди Господни”².

Этическое содержание житий оценивалось столь высоко на всем протяжении их активного бытования.

Однако „не нужно думать, что эти духовные повествования составлялись в народе с исключительно религиозною, поучительною целью, — отметил один из ведущих представителей мифологической школы, русский филолог Ф. Буслав. — Это была особенная *художественная форма* литературы, соответственная благочестивому духу времени, для выражения всего разнообразия нравственных интересов народа. Как в настоящее время господствующею формою литературы являются повесть и роман, так в Древней Руси — духовное повествование и легенда. В форме жития или легенды излагалось самое разнообразное содержание: и подвиги святых, и крупные исторические события, и семейные мемуары, и различные любопытные похождения”³.

Агиография (по-гречески агиос — святой, графо — пишу) была своеобразной копилкой различных общественных идей и эстетических представлений своего времени.

Как церковнослужебные произведения жития изучались в России достаточно активно. Довольно много использовались жития и как источники исторических событий. Однако в качестве жанра художественной литературы русского средневековья они привлекали к себе весьма мало внимания, хотя ученые обратились к эстетической стороне агиографии еще в начале нашего столетия.

Дело в том, что к трудностям, которые встречается любой исследователь древнерусской литературы, у исследователя агиографии прибавляются еще специфические трудности, присущие лишь изучению жанра житий. Между тем, и общие трудности нельзя считать пустячными.

Упомяну только одну — сложность, а во многих случаях и невозможность определения эстетических законов, положенных в основу построения житий. Затруднения исходят из неопределенности представлений человека XX века об уровне эстетического развития писателя и читателя Древней Руси

и из невозможности применять к житийной (как, впрочем, и вообще к древней) литературе те критерии, которые мы привыкли применять к литературе новой. Эти затруднения стоят перед учеными и по сей день: ведь мы никогда не можем быть уверены, что тот или иной образ, воспринимаемый нами как литературный штамп, не имел на наших предков мощного эстетического воздействия, а какое-то выражение, потрясшее нас своею неожиданной силой, не было когда-то, в период своего — возможно, весьма активного — употребления, обиходным до заурядности.

Эта и ряд других причин требуют от людей, изучающих художественную сторону древнерусской литературы, очень глубокой и разносторонней подготовки, работа эта исключительно трудоемка. Вероятно, именно поэтому наряду с блестящим разрешением многочисленных вопросов, встававших перед изучавшими наши древние литературные памятники (хронология, варианты, заимствования и т. д.), столь мало попыток исследовать художественные особенности этих памятников.

Но, как уже сказано, изучение житий имеет, кроме того, и специфические трудности. Они привели к тому, что сегодня, с точки зрения изучения художественных особенностей, русская агиография — наименее изученный раздел древнерусской литературы.

Мне могут возразить, что трудности ученых, вероятно, одинаковы во всех странах, а между тем изучение католической агиографии находится в блестящем состоянии, хотя по объему она огромна и во много раз превосходит православную.

На это я, не колеблясь, возражу, что трудности русских ученых, как на первый взгляд это ни странно, гораздо серьезнее, чем, например, у француз-

ских. Дело в том, что католическая агиография была всегда свободна от некоего предрассудка, издавна разделявшегося и разделяющегося поныне как враждебным Церкви русскими, так и православными людьми. Предрассудок этот состоит в том, что духовная жизнь считается всегда неизменной и единообразной⁴. Естественно, что при подобном исходном положении русские жития повторяют одни и те же жизненные коллизии святых.

Католическая агиография подчеркивает в святом индивидуальное, и закономерно, что ее исследователи сразу же обращаются к конкретной личности, которой посвящено житие. Сколь в отдельных случаях это ни сложно, все же такое изучение гораздо легче, чем то, которое стоит перед русским ученым. В русском житии преобладает традиционное, общее, „штамп“, а личное проявляется в отдельных чертах, в оттенках. Изучение этих оттенков требует от исследователя острого внимания, критической деликатности, ювелирной осторожности; и в то же время, даже обладая всеми этими качествами, нужно быть досконально знакомым с общим, с традиционным, со „штампом“. Таким образом, ученый, анализирующий *русское* житие, добьется успеха лишь тогда, когда он искушен *во всей православной и даже во всей христианской* агиографии.

Кроме этой трудности изучения русских житий, которую можно назвать трудностью проблемы *исследователя*, есть и трудность проблемы *исследования*. Я имею в виду отсутствие изданий. В. Ключевский знал 150 житий (250 редакций), за столетие, прошедшее со времени его исследований, были найдены и другие. Между тем, опубликовано не больше полусотни, в том числе только 4 (4!) имеют научные издания, прочие — перепечатки со случайных, далеко не всегда лучших рукописей.

В смысле хронологии житий их публикации тоже не очень удачны: почти весь материал, созданный после середины XVI в., то есть времени расцвета жанра в Москве, находится в рукописях. Ученым нередко приходится пользоваться позднейшими переложениями и переводами, однако и они далеки от полноты.

Есть и еще одна специфическая трудность в изучении русской агиографии, вызванная тем впечатлением, который наложили на него десятилетия управления наукой, осуществляемого воинствующе-атеистическими властями в Советской России: одни исследователи бравировали пренебрежительным отношением „к любым поповским выдумкам”, другие предпочитают темы „более актуальные” (иными словами, безупречные для их досье). К тому же весьма немногие из ученых в Советском Союзе вообще имеют право выбирать темы своих будущих исследований по собственному желанию.

В результате создавшегося положения даже в таком монументальном труде, как многотомная „История русской литературы”, изданная Академией наук СССР (где произведениям Древней Руси отведено два объемистых тома), читатель найдет об агиографии лишь общие, а часто и совсем поверхностные фразы. Даже в специальной статье о житийной литературе (автор М. Скрипиль) выход за пределы уже сделанного предшественниками — редкость.

В этом смысле характерны абзацы, посвященные автором житийной схеме. Начав с заявления о том, что „житийная схема определяла в основных чертах характеристику идеального святого, стиль и композиционные элементы жития”, автор статьи перечисляет особенности этой схемы:

„Начиналось житие обычно предисловием. Главная же часть житий, посвященная почти исключительно личности святого, как и предисловие, изобиловала общими местами. Обычно она строилась по следующему плану: 1/ родители и родина святого; 2/ этимологический смысл его имени; 3/ обучение; 4/ отношение к браку; 5/ подвижничество; 6/ предсмертные наставления; 7/ кончина; 8/ чудеса; 9/ заключение... Стиль житий большей частью богато украшен сравнениями, метафорами и эпитетами. В композиционном отношении характерны диалогическая форма речи, длинные молитвы, плачи, лирические отступления и восклицания”⁵.

Вот и все — голая констатация без каких бы то ни было собственных наблюдений или мыслей: все это уже изучено, и изучено очень давно, еще в начале нашего столетия⁶. Я имею в виду исследования А. Кадлубовского, В. Ключевского, Ф. Буслаева, Н. Серебрянского. Пусть эти исследования за многие десятилетия своего существования потеряли ту пронзительную свежесть, какую они имели при своем возникновении, пусть одного из их авторов интересовали лишь частные вопросы изучения житий, другой подходил к исследуемому материалу с критической предпосылкой, третий преувеличивал роль мифа в русской литературе, а четвертый работал в основном лишь с княжескими житиями... И все же тот, кто интересуется русской агиографией, не может пройти мимо исследований, сделанных этими пионерами изучения житийного жанра на Руси.

В самом деле, ведь именно один из этих ученых, А. Кадлубовский, впервые отметил наличие в древнерусской письменности традиционных „правил литературной теории”, которыми „автор жития руководился в своей работе сознательно”⁷. Развивая это наблюдение, А. Кадлубовский утверждал, что для авторов житийных произведений подлинные факты биографии святого, житие которого ими создается, имеют гораздо меньшее значение, чем тра-

диционная схема, многократно выверенная с целью максимального увеличения доходчивости и назидательности жития.

Не могу удержаться, чтобы не процитировать мнение по этому вопросу одного из видных церковных писателей конца прошлого века:

„Житие святого само составляло принадлежность богослужения в день его памяти, будучи обязательно прочитываемо в церкви, и потому само настраивалось обыкновенно на возвышенный хвалебный тон церковных песней и чтений, который требовал от него не столько живых конкретных черт в обрисовке личности и деятельности святого, сколько черт именно типических, отвлеченных, чтобы сделать эту прославляемую личность чистым олицетворением тоже отвлеченного идеала”⁸.

Именно приоритетом в глазах авторов житий схемы перед фактом объясняется столь часто встречаемое у них равнодушие к подлинной биографии тех, чью жизнь они взялись прославлять. Подмена правдивых биографических фактов, на которых могло бы быть построено живое повествование, традиционной схемой превращало житие в набор общих мест и очень часто не только придавало ему отвлеченный характер, но и приводило к искажению подлинного облика святого.

Любопытно, что А. Кадлубовский, будучи убежден как историк, что в агиографии „отражается образ мыслей, воззрений той или иной среды, тех или иных лиц в известную эпоху”, не ограничился изучением в житиях „конкретных черт прошедшего”, но попытался также оценить жития как литературный жанр.

Например, при делении житий северо-восточной Руси в соответствии с „принципами историзма” на группу памятников, связанных с Белозерскими монастырями („поволжскими старцами”), и груп-

пу памятников, созданных в Волоколамском монастыре (у иосифлян), А. Кадлубовский отмечает разницу между житиями этих групп и с точки зрения их литературной формы: „поволжские старцы” большое внимание уделяли назидательности, проповедничеству (так что святой, житие которого автор пишет, часто становится рупором авторских идей), а иосифляне в своей работе питали пристрастие к легендам, демонологическим и эсхатологическим факторам.

Если А. Кадлубовский делал свои наблюдения над художественной формой житий просто потому, что не мог оставаться в границах, отведенных ему его профессией историка, то В. Ключевский попытался создать теорию житий как литературного жанра.

Проанализировав по существу весь состав русской оригинальной агиографии, ученый сделал чрезвычайно важные выводы о времени создания житий, а также о характере взаимоотношений различных житий и отдельных редакций одного и того же жития между собой. Изучая житийную схему, он пришел к выводу, что житие состоит:

„... из двух элементов совершенно различного происхождения и свойства: это — ораторское произведение, церковная проповедь, предметом которой служат те же религиозно-нравственные истины, как и в простом церковном слове, но рассматриваемые не в отвлеченном анализе или практическом приложении, а на известных исторических событиях и лицах. Оба эти элемента, литературный и исторический, имели свою судьбу в развитии древнерусского жития, но при том трудно найти другой род литературных произведений, в котором форма в большей степени господствовала бы над содержанием, подчиняя последнее своим твердым, неизменным правилам”⁹.

Считая, что „вся литературная история древнерусского жития почти исчерпывается судьбою его

стиля”¹⁰, В. Ключевский делит ее на два больших периода: первый (до XV в.) — время строго биографических, „проложных” житий, второй (с начала XV в.) — период распространенных, витиеватых, „литературных” редакций. Это деление вошло в научный обиход и ученые придерживаются его до сих пор.

Исследование В. Ключевского интересно нашим современникам и рядом других проблем. Едва ли не наиболее важная из них — характеристика общих мест в житиях, которые, по мнению автора, не ограничиваются назидательными отступлениями, а охватывают, по существу, всю ткань жития: это и биографические детали, которые однообразно повторяются чуть ли не в каждом житии и ничего не прибавляют к характеристике святого; это и авторские домыслы, которыми дополняется картина жизни святого (в тех случаях, когда о подлинной жизни ничего или почти ничего не известно); это и отбор биографических фактов, которые освещают жизнь святого с определенных, почти всегда одних и тех же сторон.

Характерно, что именно наличием в большинстве житий общих мест В. Ключевский объясняет недостатки их композиции — отсутствие „внутренней стройности, плохо закрываемой архитектурной правильностью их внешней формы”¹¹.

Следует обратить внимание также на замечательную попытку В. Ключевского объединить в своем исследовании теорию житийного жанра с его историей. И хотя попытка не вполне удалась, это не умаляет того факта, что она была полностью новаторской и что после нее характер изучения житийной литературы резко изменился. Неудача же ученого была вызвана главным образом тем, что, не

будучи филологом, он не сумел создать удовлетворительную теорию. К тому же он исследовал лишь жития северо-восточной Руси, и, таким образом, за пределами его внимания оказался огромный участок (и географический, и хронологический) русской агиографии — Киевский период.

Обстоятельный и вдумчивый анализ этого периода был сделан несколько позже, но все же еще в начале нашего века, известным исследователем древнерусской литературы Н. Серебрянским в его интересной монографии „Древнерусские княжеские жития”¹². Много внимания в этой работе автор уделяет художественной стороне анализируемых им произведений. В частности, он отмечает, что жития Киевского периода более богаты, чем позднейшая агиография, фактическим содержанием, зато беднее риторическими украшениями.

Обратив внимание на эту особенность ранних русских житий, автор утверждает, что она не является лишь особенностью их формы, а форма здесь в значительной мере следует за содержанием. Ведь в этих житиях повествовалось о событиях недавнего времени и описывалась жизнь человека, которого многие еще помнили. Автор жития не был поставлен в необходимость заменять биографические пустоты украшательством, напротив, факты обступали его плотным кольцом. В то же время Н. Серебрянский не склонен преуменьшать и значение творческой манеры агиографов XIII-XIV вв., которые весьма часто сознательно отходили от византийских житийных образцов, отказываясь следовать им раболопно.

Что сопротивление византийской традиции среди русских агиографов действительно было, лучше всего доказывает сравнение почти безыскусственных, насыщенных фактами киевских житий XIII-

XIV вв., с выпрєнными, велєрєчивыми, покєрными византийской традиции южнославянскими житиями того же времени.

Но агиєграфы Киевской Руси не только не копировали идеальные образы и пышную стилистику византийской агиєграфии, не только тяготєли к живому публицистическому изложению событий, они насыщали свои жития мотивами, широко бытовавшими в то время в народно-поэтическом творчестве восточных славян.

Последнее обстоятельство позволило В. Ключевскому заявить, что большинство этих житий, прежде чем стать достоянием литературы, бытовало как

„местная народная легенда, у которой своя память, свои источники и приємы. Личность составителя часто совершенно исчезает в этой легенде, и нет средств ни узнать точно его участие в обработке сказания, ни услєдить за развитием последнего по всем темным извилинам многолєтней изустной передачи”¹³.

Эстетическая значимость агиєграфии XIII-XIV вв. определяется именно тем, что в ней еще не существовало безусловного образца, „штампа”, что жанр жития в тот период на Руси еще не оформился. Поэтому агиєграфические произведения этого времени скорее повєсти, рассказы, сказания с житийной основой, чем жития в классическом оформлении этого жанра.

Не была похожа на классические жития и областная агиєграфия, впрочем, обладающая и своим своеобразием, и довольно широким разнообразием. Это следует отнести за счет того, что хотя местные агиєграфы и имели перед собой в качестве образцов византийские и киевские, а затем московские жития, они не следовали им безусловно и даже не ставили своей целью точное им подражание. Наз-

начение областного жития — оставить память о своем, местном, всем землякам известном и часто совсем недавно среди них жившем подвижнике и возвеличить его, даже если он еще не канонизован. Связь с привычными образцами житийного жанра обнаруживается в областных житиях по большей части лишь постольку, поскольку святой возвеличивается. В остальной же части областного жития находится главное — народные или монастырские сказания, легенды, обычаи и верования. Именно поэтому житийная литература каждой области отмечена множеством свойственных только ей черт.

В областных житиях необычайно силен легендарный элемент. Это имеет свое объяснение: ведь тот, о ком брались писать житие, был местной гордостью. Автору повествования о нем необходимо было изобразить его и возвеличить достойным образом, и он старался поднять своего героя на такую высоту, что незаметно преступал черту, отделяющую мир действительных житейских явлений от мира фантастики. Именно здесь — источник веры автора во все то необыкновенное и чудесное в жизни святого, о чем он убежденно повествует в житии.

В то же время чудесное в житиях обрамляется „замечательно ярко выступающей частной жизнью наших предков, с их привычками, задушевыми мыслями, с их бедами и страданиями”¹⁴. Причину такого положения надо искать в стремлении автора жития убедить читателя в достоверности своего изложения. Таким образом, чем фантастичнее чудесный эпизод, рассказанный в житии, тем натуральнее, реальнее и обыденнее подробности, его окружающие. Задача всех этих точных дат, реальных имен, географических пунктов состояла в том, чтобы сделать для читателя и чудесное подлинным, существовавшим.

Весьма знаменательная особенность областных житий XIII — первой половины XV вв. та, что они посвящены не только подвижникам, как это будет в дальнейшем. Предметом повествования становились тогда любые выдающиеся местные события, любые местные герои, произведшие впечатление на народное воображение и народную память. И это повествование получало обычно название жития. Ни его автор, ни почитатели подвижника не интересовались не только тем, канонизован ли их герой официально, но и тем, достоин ли он ореола святости — он был их героем, и это исключало все сомнения.

Для примера можно назвать „Повесть о Меркурии Смоленском”, пользующуюся на Смоленской земле колоссальной популярностью — в значительной мере благодаря пронизывающему ее чувству местного, смоленского патриотизма. (Кстати сказать, именно благодаря ярко выраженному гражданскому самосознанию и глубокой поэтичности этого жития Ф. Буслаев считал его одним из самых выдающихся произведений древнерусской литературы.)

Прямо противоположно по своей тенденции смоленской „Повести о Меркурии” „Житие Петра Ордынского”, созданное в Ростовском княжестве. Ростовские жития вообще очень отличаются от других и идейной направленностью, и сюжетами, и стилем. В них явственно дают о себе знать, вопреки литературным — византийским и киевским — источникам, местные предания и легенды. А. Кадлубовский считает, что ростовские жития больше, чем какие бы то ни было иные, „свидетельствуют о воздействии на них устных сказаний, причем иной раз даже сказаний не исключительно религиозного содержания”¹⁵.

Свою особенность — и весьма замечательную особенность — имеет и муромская житийная литература: говоря словами Ф. Буслаева, на ее долю преимущественно „досталось литературное развитие идеального характера русской женщины”¹⁶. Может быть, именно поэтому она отмечена необычайной поэтичностью и лирической теплотой.

Из суздальских житий следует упомянуть характерное для этой группы агиографии „Житие Александра Невского”. В его текст, написанный с мастерской гибкостью и изобразительностью, автор вставил и библейский пример, и сжатую картину боя, и описание народной скорби при погребении святого, и современный ему общественный взгляд на происходящие события.

Характерной особенностью новгородских житий является их краткость, соответствующая деловитости, строгости новгородской письменности вообще. Таковы жития Варлаама Хутынского, Иоанна Новгородского, Михаила Клопского и епископа Аркадия.

Своеобразие агиографического письма в каждой области Древней Руси укрепилось столь же прочно, как и своеобразие киевской манеры. Должны были произойти колоссальные исторические события, чтобы жития стали писаться по-новому.

Главными из этих событий были падение влияния Киева и возвеличение Москвы. Только когда Москва заявила свои претензии стать „третьим Римом” и зарождавшаяся мощная московская государственность властно потребовала, чтобы в Москве все было „не хуже, чем в Цареграде”, русское житие рассталось со своей простотой и деловитостью.

Житие служило теперь не столько сохранению памяти о делах подвижника, сколько возвеличению подвижника. Естественно, что, говоря словами В. Ключевского, „для большинства новых житий

предание перестает быть не только единственным, но и главным источником”¹⁷. Жития начинают писаться по тем канонам, о которых мы уже не раз упоминали, вырабатываются искусственные литературные приемы и устанавливаются сложные композиционные, стилистические и прочие правила.

Это развитие витийственного стиля, удачно названного одним из его русских создателей „плетением словес”, проходило на Руси под иноземным южнославянским влиянием, которое проникало двумя путями: через письменные памятники и благодаря литературной деятельности прошлых агиографов, которые создали на русской почве первые опыты этого искусственного изложения. Житие создается теперь в основном не для чтения за трапезой или в келье монастыря, а для нужд торжественной церковной службы.

Художественная обработка нового жития, его эмоциональность и психологизм потребовали от агиографов не просто знания материала и усидчивости — агиограф должен был стать художником слова. Новые требования выдвинули особо талантливых мастеров своего дела — митрополита Киприана, Епифания Премудрого, Пахомия Логофета и др. Позднейшие агиографы им подражали.

Не надо думать однако, что благодаря „плетению словес” жития стали совсем трафаретны: безусловного тождества между манерой прославленных мастеров нового стиля не было, и при внимательном анализе стиль Киприана всегда отличишь от стиля Пахомия, а тем более от стиля Епифания. И тем не менее бесспорно, что, несмотря на индивидуальные авторские отличия, существовал единый, строгий в своей изукрашенности агиографический стиль, ставший безусловным образцом, нормой житийного жанра. Эта норма отодвинула личность создателя

жития на задний план (для неспециалиста по существу уничтожив ее совсем, даже если ему и известны биографические сведения об агиографе), как в житиях XIII-XIV вв. ее отодвигала, а то и уничтожала многолетняя легенда.

Для характеристики того, как слагались жития в XV-XVI вв., показательна судьба жизнеописания основателей Соловецкого монастыря Савватия и Зосимы. Писал его монах Досифей, ученик Зосимы, используя свои собственные воспоминания, рассказы учителя и записки сподвижника Савватия и Зосимы — монаха Германа. Досифей начал работу споро, однако вдруг забеспокоился, что пишет „слишком просто”, не умея свой труд „украсить словесы”. Пришлось ему просить митрополита Спиридона, жившего в Ферапонтовом монастыре, „украсить грубое писание”. Спиридону и принадлежит стилистический пересмотр Досифеева сочинения. К счастью, редактура не уничтожила многие из живых выражений не умудренного в искусстве „плетения словес” монаха.

Случай с житием Савватия и Зосимы — типичен. И каждый такой случай — еще одно доказательство того факта, что к началу XV в. в древнерусском жанре жития установился канон. С годами этот канон, требовавший писать только „правильные” жития, приводил к окостенению элементов жанра, превращал содержание житий в нечто второстепенное, по существу умерщвлял то, ради чего, собственно, и должен был агиограф браться за перо.

Внешне все было благополучно. С венчанием Ивана IV на царство (т. е. с принятием русским владельцем власти византийских, православных, „все-ленских” царей) представление о Москве как о третьем Риме и средоточии православной святыни закрепилось и привело, в частности, к увеличению

числа святых, специально прославивших русскую землю. Достигалось такое увеличение путем возведения святых, чтимых только в отдельных областях, в ранг общемосковских святых и путем канонизации новых святых.

Для этой кропотливой работы митрополит Макарий в течение 1547-1549 гг. созывал несколько специальных („канонизационных”) соборов, давших также толчок созданию множества новых житий и исправлению старых — конечно, в соответствии с требованиями панегирического витиеватого стиля. Целая школа агиографов под руководством того же митрополита Макария была занята подготовкой многотомного издания произведений древней русской письменности, так называемых „Макарьевских”, или „Великих”, Четых Миней, составивших в окончательном виде двенадцать объемистых томов, где жития святых занимают почетное место.

Однако расцвет житийной литературы в XV-XVI вв. был только кажущимся, в действительности же жанр умирал. И в этом была своя закономерность. Представим себе, что один из современных нам писателей вздумал бы свести всю работу над своими новеллами лишь к расположению в них событий по трем пунктам, предусмотренным учебниками теории литературы: завязка, кульминация, развязка. Нет сомнения, что его „новеллы” не были бы художественными произведениями. А если бы такому принципу следовали бы все новеллисты, то историки литературы с полным правом могли бы говорить об умирании жанра новеллы.

Нечто подобное и произошло с житиями. Экономический и политический рост русского государства расширял идейный кругозор и интересы общества. Росла потребность в чтении. Как известно, в

древнерусском обществе эта потребность в очень большой степени удовлетворялась житийной литературой. Между тем, форма, которую агиография приняла в XV-XVI вв., препятствовала популяризации житий, т. к. не всякий (далеко не всякий!) мог понять „плетение словес”. Недаром Епифания прозвали Премудрым. Даже многим составителям житий „плетение словес” оказывалось не под силу, и они отступали перед сложностью такой формы.

В отдаленных от административного и церковного центра местах, параллельно с тождественной агиографией, создавалась своя монастырская житийная литература, авторы которой не хотели (а еще чаще просто не умели) следовать витиеватым риторическим образцам. Поскольку же монастыри все более и более углублялись в необжитые места, то и русское житие с XV в. идет туда же. Там оно находит новый материал для своего развития, и, таким образом, там образуются новые центры агиографии.

Однако эти центры не сумели расширить свое значение за пределы той местности, которую обслуживали созданные в них жития, и, конечно же, не могли вдохнуть жизнь в умиравший жанр, тем более, что даже непосредственные читатели житий искали в них не событий прошлого, а назидательных примеров для практической жизни.

Таким образом, сами читатели житий выдвинули на первый план назидательную, воспитательную их функцию, а остальные их функции (главным образом, церковную и историческую, которые жития были призваны, наряду с назидательной, исполнять на протяжении веков) стали восприниматься ими как второстепенные.

В том виде, в каком жития бытовали в XVI в., они были неспособны удовлетворить требования

давать поучительные примеры для практической жизни, поэтому они были вынуждены видоизменить свои установленные Церковью формы. Развиваясь в дальнейшем в соответствии с запросами читателей, житие, имевшее церковное (или связанное с Церковью) назначение, должно было в новой литературе уступить место светской биографии и светской повести.

Ведь биография аналогична житию своим назначением — сохранить память о лице и связанных с ним событиях, а повесть — занимательностью и поучительным характером своего рассказа. Этой фразой я вовсе не утверждаю, что жанры биографии и светской повести развились непосредственно из житий, просто хочу указать на определенную логичность и преемственность в смене одних жанров другими.

После митрополита Макария, в XVII веке, жития (если это жития в подлинном понимании жанра) поражают своим однообразием. Впрочем, теперь в большинстве своем эти произведения являются житиями только по названию; по содержанию же и по форме это — повести. Таково, например, житие Юлиании Лазаревской, писанное в начале XVII в. ее сыном Каллистратом Окорыным, значительно отступающее от житийного трафарета и стремящееся к изложению реальных биографических фактов.

Хотя „Житие Юлиании Лазаревской” не лишено традиционных элементов, их наличие для повествования совсем несущественно.

„Самое существенное для Юлиании как житийной героини нового типа то, что она ведет благочестивую жизнь, подвизаясь не в монастыре, а в миру, в обстановке бытовых забот и житейских хлопот, которые возлагаются на нее обязанностями жены, матери тринадцати детей и госпожи,

имеющей большое и сложное хозяйство... Даже перед смертью она не принимает монашества, как делали другие святые"18.

Особо следует отметить группу житий, создававшихся во второй половине XVII в. и в начале XVIII в., посвященных деятелям раскола (жития Ивана Неронова, Феодосии Морозовой, Кирилла Выгорецкого и др.). Это — совсем новый тип житий: они написаны просторечием и обильно насыщены чертами народного быта. Наиболее ярким образцом этих житий, стоящих на конечной ступени развития жанра, может служить „Житие протопopa Аввакума, им самим написанное". В сущности, сочинение это вряд ли можно назвать житием в том смысле, который мы вкладываем в понятие этого жанра: в нем едва ли не полностью разрушены традиционные жанровые особенности. Прежде всего — „Житие протопopa Аввакума" — не благостное повествование о некоем святом, а полемически заостренная автобиография.

„Старая русская литература ничего похожего на это не знала, — пишет современный исследователь „Жития" Н. Гудзий. — Старый книжник счел бы кощунственной гордыней писать свое собственное житие и собственную личность делать центром внимания и назидания"19.

Но нетрадиционно не только совпадение в одном лице того, кто пишет, и того, о ком „Житие" написано, нетрадиционна сама личность Аввакума — в обоих качествах. Ведь он не только не аскет, не только не монах, он даже не просто мирянин, а мирянин, отвергающий монашеский аскетизм. Необычно в „Житии" также использование полемики для защиты собственных убеждений для борьбы с конкретными врагами (а не для отстаивания отвлеченных принципов веры и морали).

„Житием протопopa Аввакума" следует закончить

обзор пути, пройденного жанром жития с возникновения до умирания — на протяжении семи столетий его развития в древнерусской литературе. Новой литературе жанр подлинного жития не только не известен, но и само слово „житие” встречается в ней чрезвычайно редко, и употребляется оно лишь для придания определенной стилистической окраски при замене слов „биография” или „воспоминание” биографического характера. (Например, „Житие Федора Васильевича Ушакова” — воспоминания, написанные его однокашником и приятелем Александром Радищевым, или „Житие инженера Кипреева” Варлама Шаламова.)

Совсем неожиданно возрождение агиографии произошло в XIX в. Это возрождение не было возрождением жанра — просто жития щедро предоставили писателям свои идейные, сюжетные и эстетические богатства. Первым из русских писателей обратился к изучению нравственных примеров и художественных красот отечественных житий Пушкин — и этим, как и множеством иных начинаний и деяний, русские люди обязаны великому поэту. В его бумагах сохранилось большое число выписок из Четых Миней, и нет сомнения, что по крайней мере два пушкинских персонажа попали в произведения поэта из русской агиографии.

Один из них — герой ранней и неоконченной поэмы „Монах”, пересказывающей в озорных стихах эпизод из жития Иоанна Новгородского (умер в 1186 г.). Другой — юродивый Николка из трагедии „Борис Годунов”. Его разговор с царем Борисом (сцена: „Перед собором в Москве”), по всей вероятности, был навеян Пушкину житием Василия Блаженного (умер в пятидесятых годах XVI в.).

Этот московский юродивый был широко почитаем на Руси, о чем свидетельствует официальное

посвящение ему ряда храмов, а также переименование народом московского Покровского собора (в котором он был погребен) в храм Василия Блаженного. Юродивый прославился главным образом своими беспощадно откровенными (хотя и кроткими) обличениями царя Иоанна Грозного.

Например, однажды Василий пристыдил царя за то, что тот, стоя в церкви на молитве, был мыслями на Воробьевых горах, где шла постройка царских палат. В другой раз юродивый, зазвав царя в пещерку, где он жил, предложил тому угоститься сырым мясом и запить его кровью. Когда царь отказался, юродивый указал рукой на небо, куда вознеслись души невинных мучеников.

Внешность же своего Николки (отрепья, вериги, тяжелые кольца, колпак и прочее) Пушкин взял у другого юродивого — жившего при царе Федоре и похороненного в том же Покровском соборе в 1589 г. Имя его было Иоанн, а прозвище — Большой Колпак, по одежде с капюшоном, как это объяснено в житии и изображено на старинных иконах²⁰.

После Пушкина к художественной обработке житий обращалось немало писателей, которые создали те разнообразные повествования, где воедино слились многовековые традиции нашей древней культуры с высокими достижениями литературы нового времени. Вспомним „Легенду” А. Герцена, в основу которой было положено „Житие преподобной Феодоры”, „Иоанна Дамаскина” А. Толстого, многочисленные заимствования житийных сюжетов и их переделки у Н. Лескова, В. Гаршина, Л. Толстого, Ф. Достоевского.

Естественно, что мотивы обращений к житиям у разных писателей были разными, как разным был и характер этих обращений. Задача дальнейших страниц моего исследования — выяснение, каковы

были эти мотивы у каждого из писателей и что получили русские читатели в результате обращения этих писателей к агиографии.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Житие это, кстати сказать, впоследствии было положено Флобером в основу его „Искушения Святого Антония”.

2. Арх. А н т о н и й (Смирницкий). „О чтении житий святых”. — „Православная Русь” № 4, 1975.

3. Ф. Б у с л а е в. Исторические очерки русской народной словесности, т. II. СПб, 1861, с. 171-172.

4. На это обстоятельство обратил внимание еще Г. Ф е д о т о в, который писал, что подобное мнение „для одних — канон, святоотеческая норма, для других — графет, лишаящий тему святости научного интереса”. — „Святые Древней Руси”. Изд. Русского Православного богословского фонда, Нью-Йорк, 1960, с. 6.

5. История русской литературы, т. 1. Изд. АН СССР, М. — Л., 1941, сс. 88-89.

6. После выхода в свет первых томов „Истории русской литературы” разбросанные по разным журналам и книгам литературоведческие ляпсусы оказались собранными воедино и так же, как и белые пятна советского литературоведения, стали очевидны. В результате на свет появились работы, цель которых была исправление создавшегося неблагоприятного впечатления. По вопросам агиографии, в частности, необходимо упомянуть такие исследования, как „Человек в литературе Древней Руси” Д. Л и х а ч е в а (1958 г.), „Задачи изучения агиографического стиля Древней Руси” В. А д р и а н о в о й - П е р е ц (1964 г.), „Монастыри на Руси и борьба с ними крестьян в XIV-XVI веках” И. Б у д о в н и ц а (1966 г.), „Житийные повести Русского Севера” Л. Д м и т р и е в а (1973 г.). Впрочем, несмотря на появление этих исследований, широкое изучение житий как жанра — еще впереди.

7. А. К а д л у б о в с к и й. Очерки по истории древнерусской литературы житий святых. Варшава, 1902, с. 341.

8. П. З н а м е н с к и й. „Сергей Шелонин один из малоизвестных писателей XVII века”. — „Православное обозрение” № 2, 1882.

9. В. К л ю ч е в с к и й. Древнерусские жития святых как исторический источник. Москва, 1911, с. 358.

10. Там же, с. 408.

11. Там же, с. 430.

12. Она составляет III том „Чтений в Обществе истории и древностей российских”. Москва, 1915.

13. В. К л ю ч е в с к и й. Цит. соч., сс. 51-52.

14. Ф. Б у с л а е в. Историческая хрестоматия церковно-славянского и древнерусского языков. М., 1861, с. 736.

15. А. К а д л у б о в с к и й. Цит. соч., с. 42.

16. Ф. Б у с л а е в. Исторические очерки, т. II, с. 245.

17. В. К л ю ч е в с к и й. Цит. соч., с. 78.

18. Там же, с. 350.

19. Н. Г у д з и й. История древней русской литературы. М., 1950, сс. 451-452.

20. Возможно также, что Пушкин был знаком с записками англичанина Флетчера, который сообщает, что в период его пребывания в Москве „ходил по улицам юродивый и восстанавливал всех против Годуновых”.

«Ткань сердца расстелю Спасителю под ноги...»

Петербургская, ленинградская поэзия семидесятых годов XX века: Елена Шварц, Виктор Кривулин, Дмитрий Бобышев, Игорь Бурихин, Сергей Стратановский... не называем другие столь же интересные имена.

Целое поколение поэтов, стихи которых широко известны благодаря Самиздату и „Западу”, практически совсем не издавались официально. И это — не в силу идеологических и политических причин — социальные темы почти совсем отсутствуют в современной ленинградской поэзии. Причина их официального непризнания другая: стихи эти созданы за пределами признанной системы ценностей, и не только их содержание, но и их язык абсолютно недоступен привычному к клишированной мертвечине слуху.

Петербургская поэзия — лучшее и самое полное выражение всего того, что можно назвать мировоззрением моих петербургских современников, „апокалипсисом петербургской души”.

Стихи эти отображали наш долгий путь от отчаяния и экзистенциального поражения к духовной зрелости и примирению с Богом.

Мы с самого начала научились ничему не доверять — выросшие на развалинах культуры, не получив-

шие религиозного воспитания, заставшие в лице предшествующего поколения „настоящих советских людей”, т. е. живущих в вечном страхе обывателей — мы знали только, что никогда не примем этого мира. Нигилизм, с которого началась современная наша культура, был куда более безнадежным, чем откровения тех авторитетов, которыми мы упивались вначале, считая себя робкими последователями Кьеркегора, Ницше, Хайдеггера.

Эти западные одиночки выросли в мире внешнего благополучия и отстоявшейся веками жизненной формы. Они ощущали себя одиночками, но одиночками в социуме, обладающими хотя бы свободой сказать „нет”. Ведь Ницше, например, мог убежать в философию, Кьеркегор — в свою „субъективность”, Хайдеггер — в альпийскую идиллию.

Мы же были лишены не только надежды на смысл, но и надежды на самовыживание. Наша оставленность простиралась не только на сферы духа, мы были нищими во всех смыслах слова — бездомными, неприкаянными, изгнанными.

Лишенные всех относительных человеческих ценностей, мы могли выбрать только два пути: окончательно раствориться и потерять себя в эфемерной позитивности существования или же открыть четвертое, религиозное измерение жизни и заговорить языком предельных, эсхатологических смыслов.

Этот, второй путь и открывается нам через поэзию Елены Шварц. Аскетическая, жертвенная серьезность ее стихов — результат отщепенства, вечного стояния на краю, той нищеты духа, которая и нужна для открытия последних истин:

Но вы — о бедные — для вас и чести больше,
Кто обделен с рождения, как Польша,
Кто в пору глухоговорения
Родился — полузадушенный больно́й,
Кто горло сам проткнул себе для пенья,
Глаза омыл небесною волной
И кто в декабрьский мраз — как чахлая осока,
На льдине расцветал, шуршащей одиноко.

(„Бурлюк”)

Недаром такая поэзия возникает в Петербурге-Ленинграде. Вспоминаются слова Бердяева:

„Но город есть лишь атмосфера человека, лишь момент трагической судьбы человека, город пронизан человеком, он не имеет самостоятельного существования, он лишь фон человека. Человек отпал от природы, оторвался от органических корней и попал в отвратительные городские трущобы, где корчится в муках. Город — трагическая судьба человека. Город Петербург, который так удивительно чувствовал и описывал Достоевский, есть призрак, порожденный человеком в его отщепенстве и скитальчестве. В атмосфере туманов этого призрачного города зарождаются безумные мысли, созревают замыслы и преступления, в которых преступаются границы человеческой природы” (Н. Бердяев. Миросозерцание Достоевского).

И до сих пор наш город — наша плоть, и не оторвать нас друг от друга:

Я думала — не я одна —
Что Петербург нам родина — особая страна,
Он — запад, вброшенный в восток,
И окружен и одинок,
Чахоточный, все простужался он,
И в нем процентщицу убил Наполеон...

(„Черная Пасха”)

Да, этот самый фантастический и вымышленный из всех городов мог для кого-то быть родиной, кусочком земли обетованной. Теперь и эта иллюзия

разрушилась, не отгородиться нам петербургскими туманами от остальной России:

Но рухнула духовная стена —
Россия хлынула, дурна, темна, пьяна.
Где ж Родина? И поняла я вдруг:
Давно Россиею затоплен Петербург.
И сдернули заемный твой парик,
И все увидели, что ты
Все тот же царственный мужик,
И так же дергается лик,
В руке топор,
Расстегнута ширинка —
Останови же в зеркале свой взор
И ложной красоты смахни же паутинку,
О Парадиз!
Ты избяного мозга порожденье,
Пропахший щами с дня рожденья,
Где ж картинка голландская, переводная,
Ах, до тьмы стая мух засидела, родная,
И заспала тебя детоубийца,
Порфирородная вдова,
В тебе тамбовский ветер матерится
И окает, и цокает Нева.

(„Черная Пасха”)

Но тема этой статьи — не поэтическая историософия. Зоя Крахмальникова совершенно правильно как-то заметила, что русская мысль излишне увлечена историзмом, проблема же религиозного возрождения отодвигается у наших даже православных авторов на второй план.

В стихах Елены Шварц мы находим глубокую, религиозную метафизику, темы изначальной, непреходящей важности, из которых мы сегодня затронем лишь две — тему гностических искушений и тему личности.

В стихах Елены Шварц бушует дионисийская стихия. Страсть здесь — не просто конечное чувство, а таинственная и глубокая метафизическая сила. Такая же всепожирающая и безжалостная, как у героев Достоевского:

Parfum? Я говорю — Парфен.
 Парфен? Ну уж тогда Рогожин.
 Каким огнем насквозь прожжен
 При кучерской такой-то роже.
 („Лестница с дырявыми площадками”)

Но это не только „огнь пожирающий”, но и огонь очистительный, преображающий:

Когда несешь большую страсть
 В самом себе, как уголь в ладонях,
 Тогда не страшно умирать,
 Но страшно жить необожженным.
 („Лестница...”)

Дионисийскому в европейской культурной традиции было противопоставлено аполлоновское, которое и признавалось за „духовное”. Отношения между духом и телом определялись в последний век существования европейской культуры лучше всего формулой Ницше: „Дух — это просто сублимация жизни”. Антиномия духа и тела (как и в случае убогого картезианского дуализма) покрывалась романтически надуманной и примитивной антиномией „хаоса — порядка”, „сознательного — бессознательного”, „рассудка и инстинкта” и т. д.

Когда-то советская интеллигенция открыла для себя Томаса Манна и некоторое время упивалась сконструированной из борьбы дионисийских и аполлоновских элементов „драмой” Адриана Леверкюна и других необычных героев. Не умаляя значения

Томаса Манна, можно смело сказать, что „разрушительная мощь дионисийского” не вызывает у нас прежнего почтения и страха — мы уже сумели разрушить себя до конца, и самосознание свое мы пытаемся найти не через сублимацию инстинкта, отчетливо понимая, что сублимация меняет только форму, оставляя все на своих местах. Мы же хотим жизни и творчества.

В стихах Елены Шварц разговор разворачивается не в плоскости дионисийского-аполлоновского. Эта плоскость принадлежит гиликам (плотским людям) или в лучшем случае психикам (людям душевным).

Антиномии ее поэзии можно назвать гностическими. И это не только особый уровень анализа, — слово „гностический” в данном контексте нужно понимать широко: в гнозисе не только много глубины, но и много соблазна, гностицизм как течение внутри христианства породил немало еретических мнений.

В этой поэзии мы встречаемся уже не с борьбой культурных и антропологических типов, а с борьбой духов. Здесь нас будет волновать не вопрос духа и тела, а вопрос тела преображенного и тела распадающегося, не вопрос о смерти в ее имманентно-психологической данности, а вопрос о смерти второй, которая и есть настоящая смерть как духа, так и тела.

Итак, два полюса: жизнь и смерть. Жизнь завершается Преображением всей твари, всех космических сил. Начинается же с преображения собственного сердца:

Ткань сердца расстелю Спасителю под ноги,
Когда Он шел с крестом по выжженной дороге.
Потом я сердце новое сошью.
На нем останется и пыль с Его ступни,

И тень креста, который Он несет,
Все это кровь размочит, разнесет,
И весь состав мой будет просветлен,
И весь состав мой будет напоен
Страдания светом.
Есть все — тень дерева и глина и цемент,
От света я возьму четвертый элемент
И выстрою в течение долгих зим
Внутригрудной Иерусалим.

(„Лестница...”)

Но есть и другая сторона космического, безудержного дерзновения. Есть искушения, свойственные гностическим, хлыстовским сектам, искушение не просветить, а уничтожить, сбросить плоть, растлив ее или отказавшись от нее:

О скинуть бы все одежды
И кожу и кости тоже,
И ту, что в зеркало вечно
Глядит — надоевшую рожу.

С ветром в пустыне носиться,
В облаке лунном сиять,
Тьмой над водою разлиться
И в зеркалах не дрожать.

(„Лестница...”)

Однако уничтожение плоти — это только начало небытия, первые, неуверенные шаги смерти. Что же образует окончательную антитезу Преображению? Что противостоит Царствию Божию? — Ад.

И сегодня мы встречаемся вновь с древним мифом. Это — учение о переселении душ.

Преображение — с одной стороны антиномии. С другой — вечный круговорот, потеря тела, души, личности. Растворение в бесконечном, небытийственном, вечно потенциальном хаосе.

Идея метапсихоза, модная в наше время, пытается теперь проникнуть в христианство не со

стороны Блаватской и К^О, а скорее через модернизирующих христианство йогов. Провозгласители этой идеи и не знают того, что за их легкомысленным оккультным снобизмом скрывается действительная и жуткая реальность смерти, и смерти второй.

Идея метапсихоза может быть осознана христианством только с этой точки зрения. Она говорит о бесконечности, но это — бесконечность разложения. Хорошо написал о метапсихозе Вл. Ильин:

„Где нет богов — там реют привидения” — на веки веков в дурно бесконечном, дурно вечном кошмаре *delirium acutum*. Громадная заслуга Достоевского в повести „Бобок” и профессора д-ра Краинского в его многочисленных этюдах, посвященных агонии и бреду, а также преагоническому состоянию — это то, что они на основе чисто материальной и энергетической, что приблизительно одно и то же — показали, что для разлагающихся и распадающихся мозгов, которые были напитаны при жизни отрицательными качествами нелюбви и безобразия, не будет конца кошмарному процессу вечного обнищания, сопровождаемому мерзостными видениями разного рода хаотических анаморфоз.

Но все здесь сказанное дает меру наших отношений к доктринерскому бреду о странствовании душ и т. н. перевоплощении. Оно в известном смысле „реально”, как реально бредовое, агоническое состояние и посмертный бред „Бобка” у Достоевского и Краинского, как все, о чем же говорит о. Павел Флоренский в седьмом письме своего „Столпа” („Геенна”)” (Из рукописи).

Темы первобытного, родимого хаоса, снов наяву, разлагающегося сладострастия, образы утробы — утробы мира, матери, утробы Церкви — постоянны в стихах Шварц.

Вот продолжение „Бобка”. Стихотворение „Бес-телесное сладострастие”.

Разговор двух скелетов:

Головы моей нету, правда,
Всего лишнего я лишена,

Слезли платья, рубашка и грудь,
Но когда я пылинкою стану,
Вот тогда моя явится суть.
Да и я, дорогая Нантильда,
Только тверже я стал и белей,
Смерть жизнь бесконечная длится

(Выделено мной. — Т. Г.).

А вот сон наяву:

Уносит, уносит ветер распада
Правую руку с куском мармелада.
Мальчик убег, инвалид попался
Быстро, легонько перекрестился
Кто-то в толпе тихо ругался,
К инвалиду клонился.
Вот бежит инвалид, не убегая,
Ноги, вроде, бегут — одна, другая.
И однако же толпа не унывая
За спиной висит рыдая и рыча.
Ей кажется — она не догоняет.
А инвалиду, что не убежит...

(„Баллада, которую в конце
схватывает паралич”)

Есть и прямые изображения потустороннего, туманного мира, мира без памяти, где, как в первобытном хаосе, встречаются души, отрывки музыки и языков, кружатся лодки, мелькают любимые тени („Плавание”).

Хочется поэту затеряться в вечном круговороте миров и превращений:

...но в следующей жизни хочу я
снотворным маком расцвести.
В день летний, похожий на вечность,
самим собою пьянеть,
никого не любя и не помня
и беззвучно внутри звенеть.

(„Лестница...”)

Но, может быть, мы преувеличиваем и разговор о „следующей жизни” — это только поэтическая метафора, а желание „стать маком” — обычный для поэта пантеизм, космическая герменевтика, ведь и у Пушкина пророк чувствует „дольней розы прозябанье”. Но вряд ли. Шварц — поэт очень ответственный, поэт выбора, а не только созерцания. Ее поэзия, собственно, не нуждается в расшифровке, это „философская поэзия” или „поэтическая философия”, как говорит Хайдеггер. А если мы и взялись за комментирование ее стихов, то только для того, чтобы понять себя самих, ведь Елена Шварц — это уста целого поколения молодых петербуржцев.

Итак, мы говорили о том, как много в этой поэзии образов, взятых из глубин платоновской пещеры, как много в ней бессознательного, астрального, утробного.

Но нам не нужно выводить поэта из мира теней на свет Божий. Он это сделает и без нас.

Предел всем этим кружениям и циклам полагает мысль об уникальности души, бессмертной и божественной:

Животные и предки, словно мухи,
Гудят в крови, в моей нестройной лире.
Протягивают мне по калачу.
Я — не хоккей и не собрание,
Напрасны ваши приставанья —
Себя увидеть я хочу.

(„Лестница...”)

Тема выхода из кошмаров потенциальной бесконечности в вечность актуальную, в *Память Божию*, где „обитателей много”, — постоянна в ее стихах.

Много написано ею об утробном, „недоношенном” человеке, и темы этих стихов — это прежде всего тема отсутствия лика и памяти.

Но интересно, что и в стихах об утробе, вместо „Бобка” и вечно угасающего сознания, мы находим неожиданно и внезапно спасающую длань Господа, Который проникает даже в этот бредовый, хаотический мир, мир нерожденных сущностей:

Вот Моисей, — он прям и груб.
Его, конечно, до рожденья
Уже Ты пробовал на зуб...
(„Моисей и куст,
в котором явился Бог”)

Или:

О Боже. Ты внутри пустого мира
Как будто в собственном гуляешь животе...
(„Моисей и куст,
в котором явился Бог”)

Но самый прямой выход из подполья в Память Божию — выход через жертву. Отмеченность жертвой, избранничество тех, кто чувствует „силу в себе для будущих пыток” („Элегии на стороны света”), превращает человека „недоношенного” в Личность, ведущую непрерывный диалог с Богом.

II

Личность как отмеченная Богом новая тварь — одна из центральных тем ее поэзии. Она разворачивается в разных смысловых плоскостях, звучит с разной степенью концентрации.

Часто — это тема избранности, случайной, странной, жестокой:

Может быть — к счастью или позору —
вся моя ценность только в узоре
родинок, кожу мою испещривших,
в темных созвездьях, небо забывших...

Не на чем было, быть может, флейтисту,
духу горному записать музыку,
вот он проснулся среди вечной ночи,
первый схватил во тьме белый комочек
и нацарапал ноты, натыкал
на коже нерожденной, бумажно-нежной...

Куда же спрятаться, смыться бы, деться.
Чую дыхание, меткие взоры...
Ах эти проклятые на гибель узоры.

(„Невидимый охотник”)

И это обязательно тема жертвы и мученичества:
поэт — Марсий, человек, с которого содрали кожу —
„и такова судьба земных флейтистов”.

Только через мученичество и жертву можно войти
в вечность Божию, стать воином, другом, помощ-
ником Бога.

По-гречески мученик означает свидетель. Такой
мученической поэзией и можно считать поэзию
Елены Шварц. Поэзия — свидетельство, эон, соеди-
няющий мир земной и небесный, разделяющий и
сближающий Творца и тварь через „опаснейший из
всех даров” — язык.

У человека шов проходит по гортани
(„Da bin ich Dichter“)

Поэт есть глаз, узнаешь ты потом
Мгновенье связанный с ревушим божеством.
Глаз, выданный на ниточке кровавой,
На миг вместивший мира боль и славу.
(„Подражание Буало”)

Тема поэзии как искупительной жертвы — древ-
няя античная тема, античный поэт был одновремен-
но мистагогом, прорицателем, пророком. И неред-
ко саму жизнь свою он завершал, жертвуя себя
богам (Сапфо, бросившаяся со скалы в море, и
Эмпедокл, прыгнувший в кратер вулкана).

Что же чувствует жертва —
Когда она видит алтарь —
Ах, сама она чует, что кого-то
прирезала встарь
И кому-то тогда было слаще
Еще и больней.

(„Жертвы требует Бог...”)

Жертва эта тотальна и безоглядна.
В диалоге с Богом поэт даже жаждет жертвы.

Обращение к Богу:

„похожа я на страну Корею,
наступи на меня и я пятку тебе согрею...”
(„Элегии на стороны света”)

„Меня в костер для Бога щепкой бросьте”.
(„Танцующий Давид”)

Здесь, как у древних мистиков, повсюду — самое непосредственное, самое личностное и прямое отношение к Богу. И если не всегда вера, то всегда доверие.

III

В стихах этих разговор идет о Личности, а не просто об индивидуальности, не об атомарном застывшем психическом бытии, а о бытии, разрываемом духовной драмой, о бытии антиномичном. И первая антиномия, которую мы находим здесь, антиномия *своеволия и кротости*.

Современный человек, человек нашего поколения, приходит к своей „Осанне”, может быть, через еще большее „горнило сомнений”, чем интеллигент прошлого века. Нам, брошенным в совершенную

пустоту и бессмыслицу бытия, можно было прийти к Богу лишь одним путем — мучительным и долгим путем опыта, путем падений, отчаяния и полного одиночества. На этом пути свобода была единственной ценностью, которой мы дорожили. Может быть, поэтому нам так хорошо известны все ее тупики и искушения.

И сколько раз каждый из нас стоял перед последней чертой, перед последним искушением, к которому привело нас наше своеволие.

Это искушение самоубийства:

Воронкой лестница кружится,
Как омут — кто-то, мил и тих,
Зовет со дна — скорей топиться
В камнях родимых городских.

(„Искушение”)

Предел своеволия и гордости — самый страшный грех — самоубийство. Но знает поэт и о том, откуда ждать спасения. По-детски прямо и требовательно, тоном совсем некротким, он просит Бога о кротости:

Гнев мой сокруши,
ярость растерзай,
кротости прошу,
кротости подай!

(„О кротости — в ярости”)

По-настоящему кротость — не моральная добродетель, она не есть просто отсутствие гнева, она одновременно — кратчайший путь к Богу, и уже пребывание в Боге, это — путь блаженства.

„Блаженны кротции, яко тии наследят землю”. Кроткие наследуют землю, они одновременно и самые сильные и самые могущественные.

Но русская духовная традиция знает других, немогущественных, беззащитных и несчастных кротких.

В русской литературе, особенно у Достоевского, можно найти образы псевдо-юродивых и псевдо-кротких. Настоящий юродивый — это святой, мы говорим не о них. Псевдоюрродство тоже „не от мира сего”, оно пренебрегает относительными нормами жизни, презирает людскую славу и ищет скандала и поношения. Оно ищет самый короткий, самый прямой путь к Богу, вне определений и внешних форм. Это — протестантский „уход” в православии. Протестантизм впервые тотально отделил Бога от человека, начал с отрицания психологизмов, мифов и обряда, а кончил отрицанием Церкви и Таинства. У позднего протестанта Кьеркегора Бог теряет все атрибуты, остается полностью вне истории и культуры, проходит мимо людей, как „инкогнито”. Протестантский Бог-инкогнито — это секуляризованный вариант русского юродства. Апофатическое сознание псевдо-юродивых, также, как и сознание протестантское, внецерковно, безблагодатно. Вот почему эти кроткие так беззащитны и бессильны — они отторгнуты от источника силы, от благодатного, соборного мира церковной молитвы.

„Кроткая” у Достоевского кончает собой из-за своей честности, она могла вынести свое несчастье, но сломилась перед возможностью счастья. Когда она увидела любовь другого человека, она со всей глубиной увидела и невозможность для себя быть не-одинокой и ушла в смерть. Многие женские образы построены у Достоевского по этому типу: необыкновенно тесно соединяются в них гордость и кротость, inferнальное и ангелическое, идеал Содомский и идеал Мадонны. Героини его буквально разрываемы на части, а красота их описывается так: „Красота есть не только страшная, но и таинст-

венная вещь. Тут дьявол с Богом борется, а поле битвы — сердца людей”.

Самоубийство с иконой в руках.

Разве не найдем мы его в „Черной пасхе”? В этих прекрасных стихах:

И, провидя длань демиурга
со светящимся мощно кольцом,
В жемчужную грязь Петербурга
Я кротко ударю лицом.

Кротость в одиночку, покаяние вне Церкви.

Это встречается и в наши дни, и, может быть, даже чаще, чем во времена Достоевского.

Был такой случай. Школьница одной из московских школ выбросилась из окна, оставив записку: „Я — плохой человек”.

Она, как и „кроткая”, погибла из-за своей честности, из-за своего уже не детского ума, вдруг обнаружив правду — человек сам по себе плох, гордиться нечем, напротив того, поглубже заглянув в себя, каждый найдет ложь, низость, бессилие.

И никто не сказал этой девочке, что пришел на землю Господь Иисус Христос, чтобы спасти не праведников, а грешников. Никто не рассказал ей о том, что есть Церковь и Таинство Покаяния, которое одно способно противостоять прошлому и зачеркнуть не только наши плохие поступки, но и наши темные помыслы, которое убеляет душу паче снега.

По существу, все мы, советские дети, должны были кончить жизнь самоубийством, если бы были честны и продумали бы до конца ту жуткую материалистическую доктрину, которой нас пичкали уже на школьной скамье.

Но хвала Господу, Он из камней может создать детей Аврааму, Он и нас вывел из духовного сиротства, сделал Своими детьми, нас, окаменевших от бездуховности и оледеневших от бесчувственности.

Итак, выход из псевдо-юродства и псевдо-кротости — в приобщении к соборному, церковному сознанию, в открытии Церкви как Таинства.

Моя отравлена вся кровь
И измордована любовь,
Но все ж — горька и горяча
В мозгу горит свеча.

Стою заплеванной часовней,
Нет алтаря и нет икон в ней
И только ветер в ней шуршит,
Да мышка лапками стучит,
Но служба в ней идет.

(„Лестница...”)

Служба в ней идет.

Именно в такие горькие и блаженные времена, как наши, во времена поруганных храмов и святынь, Церковь Божья сияет особой, неотразимой красотой. Именно в эти времена понимаешь, что Церковь — это не просто „государственный институт”, что она вовсе и не „институт”, а живой организм, через нее Бог примиряется со всей тварью и на землю вновь спускается рай. Церковь в стихах Елены Шварц космична и всеобъемлюща, такой она была у древних мистиков, скажем, у преп. Максима Исповедника. Церковь раскрывает себя через формулу святых Отцов: „Бог стал человеком, чтобы человек стал богом”.

В этом непрерывном, любовном и жертвенном движении Творца к твари и твари к Творцу и создается Духом Святым Церковь Божья.

Но льется дождик осиянный
Огнями сотен свеч пасхальных,
Он льется на платки и плечи,

Но льется и ему навстречу
дождь свечек — пламенный попятный
молитв, надежды — дождь отземный
с часовен рук — детей, старух...

(„Лестница...”)

Д. ШТУРМАН

В поисках упорядоченности

Помещая статью Д. Штурман, мы пользуемся возможностью напомнить нашим читателям и авторам, что эта работа входит в рамки задуманной и в определенной мере проведенной нами дискуссии под общим заглавием „Свобода человека и общество грядущего”. В №№ Г р а н е й 103 и 104 за 1977 г. были опубликованы статьи Л. Мэмфорда („Авторитарная и демократическая техника”), Э. Шумахера („Техника и политические реформы”), К. Штайнбуха („Европейские демократии на пороге решений”), В. Поремского („Будущее свободы”), Ж. Фурастье („Бытие и свобода”) и О. Флехтхайма („Третьим путем — к мировой демократии”). Мы, как и раньше, охотно представляем страницы нашего журнала для обсуждения поднятых в этой дискуссии проблем.

Р е д .

1. НОСТАЛЬГИЯ ПО РАВЕНСТВУ

Коммунизм в своих литературных истоках причастен трем великим соблазнам, которые много старше марксизма и, надо думать, переживут его.

Вариант этой темы под названием „Бюрократическая утопия” издан на английском языке в журнале „Crossroads” № 4, 1979, Иерусалим.

Первый — это соблазн полного (?) исследования и правильной (?) систематизации необъятных завалов исторических фактов, непрерывно накапливаемых и теряемых человечеством. Разум жаждет обнаружить в фактах истории порядок, законы и цель. На то он и Разум.

Массовая магия второго соблазна состояла и состоит в надежде утолить все печали терпящих бедствие. При этом одни пекутся в основном о себе, другие в основном — о страдающих ближних. Первых или вторых среди нас больше, судить не берусь, ибо само понятие „ближний” для одних ограничивается ближайшими родственниками или друзьями, для других не ограничивается человечеством, а включает в себя животных, а то и растения. Марксизм обещал утолить все печали в посястороннем мире, причем радикально и навсегда.

Третий соблазн — всеобщее равенство.

Ностальгическая утопия утраченного первобытного равенства переписана марксизмом в ритме браурного марша и аранжирована для пролетарского духового оркестра. Тенденциозно реконструируемое прошлое перенесено в проблематичное будущее. Расплывчатость идеала в самой сути идей сохранилась, но из их словесного оформления неопределенность эмоционально исключена. В марксизме господствует интонация абсолютной уверенности в своей правоте. Самоуверенность интерпретируется и воспринимается как научность. Поскольку марксизм почти 140 лет говорит о *сознательной* перестройке общества, имеет смысл уделить преимущественное внимание тому, что марксисты (коммунисты) хотят разрушить и что — построить.

Когда говорят о „полной”, „идеальной”, „всеобъемлющей”, „последовательной” и т. п. демократии, то чаще всего подразумевают ту форму общественной организации, которая в этой работе названа примитивной демократией¹.

О каком человеческом коллективе ни шла бы речь (от семьи до всего человечества), примитивная демократия в своей идеальной форме предполагает, что все члены данного коллектива непосредственно участвуют в обсуждении всех вопросов, определяющих или существенно затрагивающих бытие коллектива. Они совместно, в прямом многостороннем диалоге, вырабатывают решения, утверждаемые большинством голосов. После голосования такие решения обретают силу закона — до следующего совместного обсуждения, или навсегда, или на оговоренный срок (это тоже решается сообща).

Идеальная примитивная демократия — это, таким образом, статус, при котором главным аргументом поведения всего коллектива, группы и личности является мнение большинства, обязательное для каждого и для всех. Это во множестве случаев заранее перечеркивает самые ценные возможности коллектива. Лица и меньшинства дискриминируются, хотя могут быть и более компетентными, и более одаренными, и более нравственными, чем большинство с его лидерами. Опыт истории человеческого общежития не раз доказывал, что пренебрежение мнением меньшинств и лиц обходится порою обществу непоправимо дорого.

Примитивная демократия относительно жизнеспособна (с неизбежными спасительными для ее осуществимости и выполнимости отклонениями от идеала) только как способ организации сравнитель-

но малых групп с небольшим объемом достаточно простых и однородных задач. Все то, чего нельзя решить совместным „говорением” всех членов данного коллектива, уже не входит в ее возможности.

Когда наши современники с горечью утверждают, что нет и не может быть на свете „настоящей”, „полной” и т. п. демократии, они обычно имеют в виду примитивную демократию. Распространить порядок, безнадежно к тому же ими идеализируемый, на все современное общество, действительно, невозможно: этот порядок рухнет уже в масштабах одного завода, одного института, не говоря о большем.

Откуда же горечь?

Горечь возникает потому, что примитивная демократия продолжает восприниматься множеством людей во всем мире как идеал общественной справедливости. Ее нереальность ощущается как общечеловеческая и личная трагедия. Великое слово „сообща” гипнотизирует и философов, и простых смертных и обеспечивает популярность учений, строящих свою пропаганду на обещании все-таки возродить в той или иной форме прямую, непосредственную и равноправную власть большинства.

2. СОВРЕМЕННАЯ, ИЛИ КОНКУРЕНТНО-РЫНОЧНАЯ, ДЕМОКРАТИЯ

Значит ли все сказанное выше, что демократия в *принципе* не осуществима?

Какая демократия — вот в чем вопрос.

Примитивная демократия в масштабах, выходящих за пределы весьма малых групп (да и в них весьма относительная), неосуществима.

Но и досоциальная и социальная природа являются образцы такого способа организации, который тоже можно назвать демократическим, но принципиально отличным от примитивного демократизма.

В чем состоят основные отличия?

Этот способ организации, который назван в данной статье конкурентно-демократическим, обычно тоже (и это далеко не всегда является его достоинством) реализует санкции большинства членов сообщества („Целого”). Но при этом не дискриминируются несогласные меньшинства.

Общая определяющая (хотя и не единственная) особенность конкурентной демократии состоит в следующем: в санкциях ее регуляторов (управляющих устройств) участвуют все части Целого — все его подсистемы (группы) и все его элементы (особи, личности). Более того: регулятор такого Целого и образован в конечном счете совокупностью всех „узлов” и „элементов” (групп и особей, лиц), составляющих управляемую систему (Целое).

Эпитет же „конкурентная” (демократия) обусловлен тем, что такого рода системы используют в ходе своей самоорганизации приемы, близкие к приемам конкурентно-рыночного отбора.

В глазах не-биолога и не-экономиста естественный и рыночный конкурентный отборы выглядят процессами, по их основным параметрам совпадающими друг с другом: жестоко хаотическими, совершенно бесплановыми. Поэтому необходимы кое-какие дополнительные оговорки. Во-первых, естественный отбор и рыночная конкуренция отнюдь не „близнецы-братья”: между ними существуют различия не меньшие, чем между поведением грудного младенца и взрослого человека. Во-вторых, ни на одном из уровней биологического и биосоциального поведения не отсутствует тот

сложный феномен, который можно условно обозначить как плановость. Парадокс заключается в том, что в условиях конкурентной демократии многообразные формы и виды планирования (различных уровней: от личного до государственного) реализуются полнее и эффективней, чем в так называемых тотально-плановых обстоятельствах, о которых речь пойдет в главе „Диктатура”.

Итак, что же такое „конкурентная демократия”?

Авторы статьи „Взаимодействие в биологических системах” Ю. М. Васильев, И. М. Гельфанд, Ш. А. Губерман и М. Л. Шик² полагают, что элементы и подсистемы сложных многоуровневых систем могут управляться двояко:

„Либо существует единый центр, который постоянно указывает каждому из элементов, что ему делать (так, например, работает вычислительная машина со вложенной в нее программой), либо — и это более естественный способ, из отдельных элементов управляющей системы в зависимости от задач, стоящих перед организмом, формируются временные объединения — подсистемы. Каждая подсистема решает задачу гораздо меньшей сложности, чем вся система.

... Управление должно происходить так, чтобы деятельность элементов, решающих свои локальные задачи, приводила к достижению общей цели. При управлении состояние подсистемы должно изменяться таким образом, что ее элементы дают „привычные” „запаянные” в них реакции, приспособленные для решения их „личных” задач. Иными словами, формирование сложного живого коллектива идет таким образом, что реакции, которые были бы индивидуально целесообразными для каждого элемента, складываются в систему реакций, выгодную для коллектива в целом. Такой подход к проблеме управления сложной живой системой можно охарактеризовать как замену глобального принципа *(элементы системы существуют лишь постольку, поскольку это необходимо для системы в целом)* локальным

принципом: *каждый элемент стремится к осуществлению своих „личных“ целей, но система сформирована таким образом, что при этом достигаются общие цели* (курсив наш. — Д. Ш.)

... При формировании коллектива его элементы не должны приобретать каких-то принципиально новых свойств, необходимых для управления ими, речь идет о приспособлении и организации уже имеющихся „личных“ реакций этих элементов. Последние входят в определенные подсистемы „на время решения одной задачи, при решении других задач эти элементы могут входить в другие подсистемы“.

Авторы статьи утверждают, что естественные живые системы глобального принципа управления не знают и все организованы „иерархически“ (я бы сказала — демократически). Только подходя к вопросу очень поверхностно, можно, к примеру, думать, что организмом „командует“ мозг и даже сознание, т. е. одна из способностей мозга. Состояние мозга, в том числе и сознания, определяется состоянием и работой всех элементов и подсистем организма в их взаимосвязях друг с другом и со средой, а не „приказами“ сознания, которое, как правило, бессильно прямо и непосредственно определять в организме, которому принадлежит, состояние и поведение молекулы, органеллы, клетки, ткани и ряда органов³.

Н. Винер приводит следующий пример:

„Допустим теперь, что я поднимаю карандаш. Чтобы это сделать, я должен привести в движение определенные мышцы. Однако никто, за исключением специалистов-анатомов, не знает, какие это мышцы. Даже среди анатомов немногие, да и то вряд ли, сумеют поднять карандаш посредством сознательного акта последовательного сокращения отдельных мышц. Нами осознается лишь конечная цель — *поднять карандаш* (курсив Винера — Д. Ш.). Когда мы решили это сделать, наше движение совершается так, что, грубо говоря, степень, в которой карандаш еще не взят, на каждом этапе уменьшается. Все движение выполняется почти бессознательно⁴.

С точки зрения сознания как процесса крупномасштабных, „грубых”, стратегических отвлечений и формализаций, поднятие карандаша протекает „беспланово”, „автоматически” (как ходьба, засыпание, поддержание вертикального положения, сон, пробуждение и т. д. — до бесконечности). В действительности же в организме, в том числе и в мозгу, но „глубже” сознания, разворачивается сложнейшая и тончайшая физиологическая программа на множестве уровней — от молекулярно-энергетического до мышечно-двигательного. И если бы мозг рискнул попытаться формально-логически („сознательно”) рассчитать всю эту программу на всех ее уровнях вплоть до каждой молекулы и каждого кванта энергии, он успел бы состариться и погибнуть, не определив даже компонентов и объема задачи.

Социалистическое планирование по Марксу — это именно претензия поднять карандаш сознательно, последовательно сокращая отдельные мышцы.

Приведенный Н. Винером пример говорит о том, что сложные многоуровневые „большие системы” сочетают целеполагание, программирование процессов достижения цели и действие куда более сложным образом, чем одна только работа мысли и физическое выполнение ее приказов.

Итак, регулятор (то ли геобиоценоз, то ли рынок, то ли биологический организм) структурно включает в себя все частности, образующие данную систему. Но равенства всех элементов и групп в управлении такой системой и в удовлетворении их потребностей такой регулятор (такая демократия) своим сочленам не предоставляет. В геобиоценозе конкурентоспособность и адаптивность частности и мера ее воздействия на статус геобиоценоза определяется рядом ее биологических свойств. Вес каждо-

го из участников рыночного обмена в совокупных „решениях” конкурентного рынка зависит, с одной стороны, от спроса на предлагаемые им товары всех видов, включая труд; с другой стороны — от платежеспособности и запросов участников рынка, выступающих в качестве потребителей. В идеальном случае и спрос на товары поставщика, и платежеспособность потребителя зависят от того, насколько общество нуждается в деятельности и первого, и второго.

В условиях естественного отбора неравенство приспособительных качеств видов и особей действует неумолимо. В условиях так называемого классического капитализма оно, по-видимому, действовало с беспощадностью, близкой к жестокости естественного отбора. Сколь угодно высокая экономическая эффективность той или иной системы не может служить поводом к апологии этой системы, если последняя в процессе отбора удачликов и умельцев безжалостна к слабым, неумелым и неудачливым.

Человеческое сознание восстает против такой автоматической беспощадности, выискивая способы к ее снятию или хотя бы смягчению. Два варианта теоретического (литературного) социализма: идеализация примитивной демократии и фетишизация централизма — в значительной степени обусловлены отвращением гуманизированного сознания к жестокости естественного отбора, пронизывающей некорректируемую рыночную конкуренцию. Пожалуй, отсюда же, а не из биологических глубин социальных инстинктов, проистекают и практические попытки построения обществ, организуемых всеобъемлющим планом, а не конкуренцией. Однако именно жестокость и не является обязательным спутником и следствием рыночной кон-

курении. Пожалуй, уже в XVIII веке европейские государства начали расширять свои арбитражно-подстраховочные законы и действия в защиту рабочих и неимущих. В XIX веке профессиональные союзы противопоставили объединение работников произволу работодателей. В течение XIX-XX веков множились и распространялись всяческие узаконенные формы борьбы за повышение различными слоями общества их платежеспособности и конкурентоспособности, входили в повседневную практику развитых демократий многообразные виды социальных пособий и т. д. и т. п. Государство или частные фирмы и корпорации начали страховать и предпринимателей, поощрять нужные обществу предприятия в подходящих, с точки зрения общества, районах, изымать все более существенную часть прибыли на общие нужды и т. п. Все это не приводило к аварии свободного рынка, пока под угрозой не оказался сам принцип разносторонней конкуренции (многочисленность предложений и выбор потребителем того предложения, которое ему подходит).

В XX веке настоятельно возник вопрос о не приводящих к разрушению рынков *пределах* вмешательства государства и профессиональных союзов в процесс конкурентно-рыночного отбора⁵. Вместе с тем над конкурентными механизмами нависла угроза со стороны финансово-промышленных объединений, стремящихся монополизировать предложение на своих рынках. Профсоюзы, в свою очередь, оказались склонными агрессивно монополизировать предложение труда в своих областях, разрушая и здесь рыночный механизм и решительно отрывая оплату труда от его эффективности. К этим проблемам конкурентной демократии мне еще придется вернуться.

Итак, в создании конъюнктуры конкурентного рынка (его „санкций”) участвует *все* его участники, но не в равной мере, а в идеальном случае — соответственно тому, насколько общество нуждается в их товарах или в их труде. Критерии рынка и его санкции тоже формируются *всеми* его участниками и тоже — не в равной мере, а соответственно их платежеспособности или ценности (с точки зрения потребителей) их предложения. Считать такое неравенство достоинством или недостатком конкурентно-рыночной самоорганизации — дело читателя.

Обращусь к другому качеству механизмов естественного и конкурентно-рыночного отборов.

Каждый биоценоз и каждый рынок содержат в себе, то есть как бы структурно „знают”, всю циркулирующую в них информацию: предложение, спрос, покупки, отказы, приспособительный „вес” особей и видов, их поступки (удачи и неудачи) в борьбе за существование и т. д. Но ведь все это — структурная информация лишь *прошедшего* времени и *данного* момента. И биоценоз, и рынок (в качестве совокупности *всех* своих частных) воздействуют на *каждую* свою частность *соответственно* структурной информации прошлого и настоящего.

Они штрафуют и поощряют своих сочленов только *постфактум* — после (в лучшем случае — в ходе) их, этих сочленов, действия. Следовательно, и все участники конкурентных рынков или естественного отбора тоже обретают необходимую им информацию и ответ на свои шаги с существенным, иногда роковым для них, опозданием. Это вызывает локальные катастрофы, поражающие отдельных сочленов рынка (или геобиоценоза). *Целое* же продолжает какое-то время невозмутимо играть свою

роль регулятора, игнорируя крушение частных, отстающих от его санкций. Однако число „отстающих” (то есть опоздавших получить необходимую информацию) периодически растет до критического, и тогда „возникает” кризис или экономическая (экологическая) авария.

Выход из этого тупика как для частных рынков и геобиоценоза, так и для Целого (в качестве совокупности таких частных) в значительной мере заложен в том свойстве живой природы⁶, которое акад. П. К. Анохин назвал способностью к „опережающему отражению”⁷ (к опережению живыми субъектами в их реакциях и представлениях только еще имеющих произойти событий).

По утверждению П. К. Анохина⁸, живая материя на самых ранних ступенях своего развития обрела способность перестраиваться (в широчайшем значении этого слова) быстрее, чем перестраивается среда, окружающая живые субъекты. Вот один из примеров П. К. Анохина: по сигналу о некоем внешнем событии органический субъект оказался способным разворачивать цепь внутренних реакций, позволяющую ему сохранить свою устойчивость при последующих изменениях среды, которые, оставаясь он неизменным, непременно его разрушили бы. Иными словами, органический объект успевает измениться внутренне или изменить свое положение в среде, свои связи с ней, свое поведение раньше, чем во внешней среде происходит опасное для него событие. О приближении же такого опасного для него события как бы предупреждает его первый (еще практически для него безопасный) симптом — сигнал уже начавшегося во внешней среде процесса. Такой потенциально опасный процесс может начаться (и это постоянно имеет место) и внутри органического субъекта. И тогда по первым же

симптомам развертывающейся угрозы⁹ субъект разворачивает систему блокирующих, защитных, разрушительных ответных реакций. Мы не станем вдаваться в биохимический механизм „опережающего отражения” различных уровней, так как нас интересует только его приспособительный смысл. По мнению П. К. Анохина, возможность „опережающего отражения” обусловлена прежде всего фундаментальными свойствами пространственно-временной структуры мира, породившего жизнь как один из своих феноменов. Эти свойства, вне которых жизнь в земном ее понимании немыслима, — *цикличность, повторяемость* явлений Природы во времени и пространстве, ее ритмы:

„Никогда не повторяющиеся воздействия не могли оказать какого-либо решающего влияния на эволюцию высших форм приспособления живой материи¹⁰ и, следовательно, не могли стать фактором организации самой протоплазматической структуры живых организмов, — говорит П. К. Анохин. — ... Основой развития жизни и ее отношения к внешнему, неорганическому миру явились повторяющиеся его воздействия на организм”.

По П. К. Анохину, приспособиться к полностью хаотическим внешним обстоятельствам живая структура не смогла бы. Полностью аритмичная, хаотическая среда не может селекционировать помехоустойчивых *живых* (т. е. сложных и хрупких) обитателей. Что касается внутренних свойств субъекта, то вне упорядоченности нет структуры как таковой.

Без всякой натяжки можно говорить в приведенной выше связи о решающем значении скорости производства информации человеческим (общественным) сознанием по сравнению со скоростью протекающих в окружающей это сознание среде и в его собственной субстанции процессов.

В связи с этим возникает и еще одна, чрезвычайно злободневная, мысль о невозможности приспособления развитого человеческого сознания к *неправовой социальной среде* — к среде, *страдающей правовой аритмией, правовым хаосом*.

Это не аналогия, в которой, как в любой аналогии, не исключена натяжка. Это распространение на социальную сферу закона, по-видимому, универсального. Чем сложнее биологический (биосоциальный) субъект, тем более он нуждается в планировании своего поведения, в прогнозировании реакций своей среды — субстанций — в том, что П. К. Анохин назвал „опережающим отражением”.

Но чем более хаотизирована среда обитания такого субъекта, тем менее мыслимо приспособительное „опережение” имеющих произойти в ней реакций¹¹.

В условиях конкурентной демократии современного западного типа „ясное, четкое, воспроизводимое право” (Н. Винер) весьма повышает приспособительные возможности лиц и групп. Воспроизводимость, ясность и четкость права повышают также возможности лиц и групп в борьбе против невыгодных им юридических установлений.

Противников конкурентной демократии отталкивает как постоянная необходимость наращивать свою конкурентоспособность, так и нестабильность положения лиц, групп, организаций, втянутых в конкуренцию.

Винер пишет:

„Рынок — игра, находящая свое подобие в семейной игре, известной под названием „Монополия” (настольная игра, в которой игроки играют в „покупку”, „аренду” и „прода-

жу” не подвижности. Выигрывает тот, кто станет „владельцем” большей части имущества). Она строго подчинена общей теории игр, которую разработали фон-Нейман и Morgenштерн. Эта теория основана на допущении, что на любой стадии игры каждый игрок, исходя из доступной ему информации, играет согласно вполне разумной стратегии, которая в конце концов должна обеспечить ему наибольшее математическое ожидание (среднее значение) выигрыша. Это — рыночная игра, в которую играют вполне разумные и совершенно беззащитные дельцы. Даже при двух игроках теория сложна, хотя она приводит часто к выбору определенного направления игры. Но при трех игроках во многих случаях, и при многих игроках в подавляющем большинстве случаев *результат игры характеризуется крайней неопределенностью и неустойчивостью* Побуждаемые своей собственной алчностью, отдельные игроки образуют коалиции; но эти коалиции обычно не устанавливаются каким-нибудь одним определенным образом и обычно кончаются столпотворением измен, ренегатства и обманов. Это точная картина высшей деловой жизни и тесно связанной с ней политической, дипломатической и военной жизни. В конце концов даже самого блестящего и беспринципного мастера ждет разорение. Но допустим, что маклерам это надоело, и они решили жить в мире между собой. *Тогда награда достанется тому, кто, выбрав удачный момент, нарушит соглашение и предаст остальных.* Здесь нет никакого гомеостаза. Мы должны проходить циклы бумов и спадов в деловой жизни, последовательную смену диктатуры и революции, войны, в которых все теряют и которые столь характерны для современности”¹² (курсив наш. — Д. Ш.).

Говоря о рынке и конкуренции, нужно, вероятно, считаться с этим рассуждением Винера, более тонким, чем довольно-таки наивные суждения Маркса („... просто рассчитать, сколько нужно...” и т. п.). Думаю, что оно все же ошибочно, по крайней мере отчасти. Немало крупных компаний существуют многие годы, иные — столетия. Ситуация, вероятно, более верно описывается крылатой фразой Эддингтона:

„Непрочность человеческой жизни вошла в поговорку, но мало что может соперничать в прочности с доходами страховой компании”.

Почему?!

Дело в том, что всякий процесс развивается во времени, и практическое значение имеет его кинетика, в частности, оценка времени, потребного для разрушения системы в рассматриваемых условиях ее функционирования. Абсолютно устойчивых систем в природе нет и быть не может („все течет...”). Устойчивыми считаются такие системы, время существования которых достаточно велико по сравнению с периодом, характерным для рассматриваемой проблемы. Например, планируя практическую деятельность, никто не учитывает, что солнечная энергия иссякнет, хотя это когда-нибудь и произойдет. Но уже сегодня приходится считаться с перспективой истощения некоторых других энергоресурсов нашей планеты.

Однако отказываться на этом основании от совершенствования законов рынка так же нелогично, как отказываться от медицины, потому что человек все равно смертен.

Отказываться от борьбы за жизнь мы не согласны потому, что единственная эмпирическая известная нам альтернатива жизни — смерть — нас не устраивает.

Можно возразить, что организм с обновленными клетками — уже не тот организм, фирма с новым руководством — уже не та фирма и т. д. Но дело в том, что „тот же” означает „способный исполнять ту же нас интересующую функцию”. Тожество личности человека до и после облысения не вызывает сомнения у тех, кто общается с ним как с человеком, хотя с точки зрения парикмахера, для которого

го он только клиент, облысение означает „исчезновение” личности (потерю клиента).

Следовательно, организм с регенерировавшими клетками или фирма с обновленным штатом остаются теми же, если они сохраняют накопленную ранее информацию и способны к прежней деятельности, хотя и в изменившихся условиях.

Конкурентный („свободный”) рынок, на первый взгляд, — среда беспорядочная, конъюктура которой образуется непредсказуемыми переплетениями и столкновениями массы случайных факторов. Но поведение участников конкурентного рынка, сильная реализация ими своих субъективных критериев и целей не так произвольны, как кажется на первый взгляд. Они поддаются вероятностному прогнозированию как в целом, так и локально, подчиняются определенным закономерностям и зависят от ряда предсказуемых социальных факторов.

Так, например, по словам официального советского автора¹³,

„за последнее десятилетие, после Второй мировой войны, появились дополнительные источники информации о состоянии рынка, позволяющие предвидеть ход экономических процессов независимо от движения товарной массы и задолго до того, как обнаружится изменение цен”.

Это значит, добавим мы, что в конкурентно-рыночную ситуацию начала проникать свойственная жизни как таковой способность к „опережающему отражению”, которой живая природа столь виртуозно владеет на биохимическом уровне и столь поверхностно, — в детских, начальных формах, — на уровне логическом, познавательном. А несколькими строками ниже человек, только что пространно и убедительно объяснивший нам, как научная модель капиталистической экономики, по-

строенная профессором Калифорнийского университета О. Смитом, изменила характер капиталистического производства и сбыта, пишет:

„Они, конечно не в силах изменить анархию производства, *поскольку предвидеть не значит управлять*, а анархия производства объясняется не просто тем обстоятельством, что одни предприниматели не знают, что делают другие (и что будут делать покупатели, и сколько их будет, добавим мы — Д. Ш.), а основным противоречием капитализма, частной собственностью, которая каждого заставляет преследовать свои личные выгоды. Более достоверная информация, следовательно, не может устранить анархию производства. Но в известных пределах появляется возможность предпринимать некоторые меры”¹⁴ (курсив в цитате наш. — Д. Ш.).

Так советский исследователь уходит от заведомых и продуктивных выводов, „заранее предприняв некоторые меры” к тому, чтобы его статья была напечатана. Тоже — „опережающее отражение”: необходимость производства дезинформации — один из самых „ясных, четких и воспроизводимых” параметров советской официальной идеологии и, в частности, — гуманитарного департамента ее „управляемой науки” (М. Поповский). Это позволяет предвидеть реакции власти на высказывания ученых-гуманитариев¹⁵.

„Предвидеть” — это значит расширить возможности „управлять”. Но предвидение *само по себе* не дает возможности командовать другими людьми, и это „плохо”. Частная собственность, точнее — дискретная конкурентная экономика (давно уже нигде не исключительно частная), — позволяет каждому преследовать свою собственную выгоду, и это „еще хуже”: по разумению марксистского экономиста и философа, каждый должен стремиться к достижению не своей, а „общей” (в реальных социалистических обстоятельствах — государственной, точнее, партократической) выгоды.

Однако ни в книжной марксистской морали, ни в реальной социалистической экономике нет рецептов и механизмов, которые обеспечивали бы личное поведение, противоречащее естественному стремлению всего живого преследовать *свою* выгоду, защищать *свои* интересы¹⁶. Весь вопрос в том, что понимать под „своей выгодой” и какими средствами *иметь возможность* ее добиться. Рыночная конкуренция дискретных, не подчиненных общему Центру поставщиков и потребителей создает ситуацию, не допускающую безразличия к чужим интересам при достижении собственных. Заказ потребителя *должен быть* выполнен, — иначе поставщик не добьется того, к чему он стремится, — прибыли. Никто не мешает ему располагать этой прибылью по его усмотрению и, обеспечив дальнейшее функционирование своего производства, тратить остаток на чужие нужды. В этом смысле система дискретной экономики никаких запретов на альтруистическое поведение личности не накладывает. Но, разумеется, пренебречь интересами своего предприятия здесь нельзя, ибо немедленно прекратится прибыль, а с нею и возможность быть добрым. В отличие от капиталиста, вынужденного выполнять заказ потребителя, руководитель социалистического предприятия (поставщик товаров, идей, программ, эстетических ценностей и т. п.), преследуя свою выгоду, вынужден ориентироваться на своего вышестоящего руководителя как на ближайшую к нему ипостась единственного в системе работодателя — государства, независимо от того, насколько это выгодно или невыгодно потребителю. Конкуренция не только сохраняется, но и беспощаднейше ужесточается. Однако это уже не конкуренция политиков и товаровладельцев перед лицом избирателей и покупателей, а конкуренция всех

членов и слоев общества перед партократической властью на ее различных иерархических уровнях.

Авторы уже упомянутой нами статьи „Взаимодействие в биологических системах” пишут:

„Мы хотим подчеркнуть нашу основную мысль: в основе поведения живых систем лежит небольшое число принципов. С помощью этого небольшого числа механизмов оказывается возможным организовать разумное поведение систем во всем многообразии ситуации внешнего мира”¹⁷.

Механизм конкурентно-рыночного отбора в экономике, политике, идеологии и культуре, в сочетании с использованием и развитием специфичных для такого отбора форм и способов „опережающего отражения”, относится, по-видимому, к числу тех немногих фундаментальных принципов, которые лежат в основе функционирования социальных систем, организованных демократически в современном, а не в примитивно соборном смысле этого термина.

Очень важно, что капиталистическая экономика автоматически вынуждает поставщика хотя бы отчасти — в степени, необходимой для привлечения покупателя, — заботиться о потребительных качествах производимых (предлагаемых) им услуг и товаров. В натуральном хозяйстве не возникало такой проблемы, ибо там все производилось (мы опять берем идеальный предельный случай) для собственного потребления. Товарное производство лишает производителя (поставщика) субъективного интереса к потребительным качествам основной массы его товарной продукции, которую потреблять не ему, а безликому потребителю. Еще не искаженная все возрастающим монополизмом конкуренция вынужденно возвращает производителя (поставщика) к заботе о качестве его продукции и делает это вне всякой зависимости от личных ка-

честв поставщика. Надежно может избавить поставщика от субъективно ему не нужной заботы о качестве его продукции только абсолютная *монополизация предложения*. Это и происходит в условиях социализма (монокапитализма) по отношению ко всем товарам, ибо их производство и сбыт всецело монополизированы единственным поставщиком — государством. То же, хотя и не в полной мере, демонстрирует растущий западный монополизм предложения, государственный или корпоративный, что в данном случае безразлично. То же безразличие к истинным качествам своего товара (труда, его эффективности, производительности, квалифицированности) проявляют и профсоюзы, которым удалось монополизировать предложение труда в своей области. Они, как, впрочем, и современные социалисты, *еще не создавшие своей диктатуры*, заняты монополитическим шантажом, цель которого — вырвать у общества как можно большую долю общественного продукта (вне всякой зависимости от того, какая доля продукта ими действительно произведена). Интересно, что именно такую линию поведения рекомендовали большевики, пока они были одной из социал-демократических партий, *идущих* к власти. Как только они к власти *пришли* и сделали эту власть тотальной, уничтожив предпринимателей, они немедленно (в конце 1917 — начале 1918 гг.) заговорили о „рвачестве” рабочих и о необходимости думать сначала о производительности труда, а потом уже о „вознаграждении”. „Вознаграждение”, не зависящее от труда, сразу же превратилось в труд, не зависящий от „вознаграждения” (см. у Ленина статью „Великий почин” и др.). Характерно, что на предприятиях, принадлежащих им (или их лидерам), ни профсоюзы, ни социалисты, ни коммунисты капиталистичес-

ких стран не занимаются благотворительностью, а ведут себя как достаточно требовательные предприниматели.

Очень тонка и трудно уловима граница, за которой свобода конкуренции перерастает (или деградирует) в монополистическое удушение конкурентов. Здесь возникает один чрезвычайно важный момент, который трудно диагностировать в журнальной статье. Грань, о которой сказано выше, собственно говоря, теоретически в общих чертах определима. Укрупняясь, конкурирующие предприятия на поддающемся приблизительному вычислению пределе начинают терять в управляемости, а значит и в конкурентоспособности. Если борьба на рынке ведется чисто экономическими средствами, выход один: разукрупнение. Иначе — утрата конкурентоспособности и гибель. Но сверхкрупные монополии (корпоративные, профсоюзные, национализированные, смешанные, частные) обладают и огромным финансово-политическим весом. В рыночную борьбу ими всегда включаются приемы и факторы внеэкономические: подкуп; протекция; промышленно-сбытовой шпионаж; политика; идеология; демагогия; правительственная коррупция и т. п. В этих областях потенциал монополистических гигантов выше потенциала экономически конкурентоспособных фирм оптимальных размеров. *Полная же монокапитализация экономики (ее абсолютная национализация) еще нигде и никогда не произошла иначе, как политическим путем.* Можно ли установить для рыночной конкурентной борьбы пределы, законодательно предупреждающие роковое перерастание неизбежных для рынка монополистических тенденций в реальный монополизм? Теоретически это представляется мыслимым. Ряд серьезных исследователей предполагает, что фундамен-

тальных причин, которые исключали бы такую возможность, нет. Однако далеко не всегда одерживают победу в истории лучшие из более или менее вероятных вариантов ее саморазвертывания. Какой вариант более вероятен в данном конкретном случае, решить трудно.

Есть у конкурентной демократии еще одна осложняющая ее черта. Назначение всех рыночных механизмов демократии — удовлетворение потребительского спроса. *Рынки не производят этического, нравственного отбора потребностей, не оценивают их с каких бы то ни было экологических, футурологических и т. п. позиций.* Для рынка существуют два основных критерия: критерий прибыли, т. е. платежеспособного спроса, и критерий технической осуществимости потребительского заказа или сулящего прибыль замысла. Ассортимент предлагаемых рынком товаров не имеет морально-этической шкалы их ценности, ибо механизм конкурентного рынка так же свободен от каких бы то ни было представлений о нравственности или безнравственности, как всякая другая машина. Понятия гуманности, морали и этики, спорные, относительные и расплывчатые для самих людей, никем в этот стихийно сложившийся механизм не вмонтированы. Их носителем может быть только человек, личность. Рынок же с одинаковой готовностью снабжает общество научно-техническими идеями, порнографией, морально-этическими концепциями, фильмами ужасов, шедеврами искусства, противозаконными услугами вплоть до убийств, хлебом и алкоголем, молоком и наркотиками, социальными исследованиями и аппаратурой подслушивания, евангелиями и оружием и т. д. и т. п., обходя, при

наличии платежеспособного спроса и технической выполнимости, все законодательные и полицейские преграды и ограничения. Более того: при достаточном единодушии избирателей (потребителей политико-идеологических услуг) политический конкурентный рынок обеспечивает им даже... диктатуру, т. е. свою собственную смерть. Так было, например, в Германии 1933 года, когда Гитлер и его партия пришли к власти посредством демократических выборов. Этическая нейтральность, внеморализм рыночных механизмов тоже порождают серьезную оппозицию конкурентной демократии со стороны людей и групп, располагающих высоким нравственным авторитетом. Но, вероятно, никто не станет предъявлять претензии типографской машине из-за того, что на ней печатают не только хорошие, но и плохие книги. Типографская машина безотказно размножит, например, приказ о запрещении книгопечатания и об уничтожении всех печатных машин. Еще глупее, чем осуждать машину за печатание дурных или вредных, по-нашему, книг, было бы отказать от услуг машины и вернуться к гусиным перьям, которыми были написаны многие хорошие книги.

· Перед обществом, обладающим столь эффективным механизмом удовлетворения своих потребностей, как конкурентный демократический рынок, стоит отнюдь не задача уничтожения этого механизма из-за его моральной неизбирательности. Перед обществом, располагающим такой машиной, стоит задача гораздо более сложная: *цивилизация собственного спроса, т. е. своих (всех или большинства своих сочленов) собственных качеств и критериев.*

Цивилизация спроса, т. е. цивилизация самого потребителя, самой личности, дающей заказы рын-

ку, совершенствование ее морали, ее представлений о благе, своем и общем, ее критериев добра и зла приобретает в условиях демократии первостепенно большое значение. Чем шире наши общественные возможности, тем важнее для нас уметь выбирать (или угадывать) наиболее выгодные для себя и других из этих возможностей. Не менее важно оптимально — с точки зрения общества и личности — трактовать понятие личной выгоды.

Путь к свободе может проложить для нас кто-то другой. *Пути в свободе* выбираем мы сами, и выбираем чаще всего вслепую и наугад.

Чем свободней общество, тем весомей в его судьбе критерий качества, а значит, и потребности личностей и групп, составляющих его. Двусмысленный феномен личной свободы настойчиво требует субъективной бдительности к смыслу своих и чужих потребностей, к сути своих и чужих критериев блага. Демократическому обществу трудно — при размахе доступных ему возможностей самоудовлетворения — выбирать, нащупывать, защищать выгодные и для его сочленов, и для системы в целом способы существования. Трудности усугубляются недемократическим окружением такого общества извне, о чем несколько ниже.

Из-за всех этих (и многих других) трудностей свободного существования и издержек конкурентной борьбы постоянно возникает соблазн отказаться от конкурентно-рыночного „рыскания по курсу” в колебательных поисках трудно уловимого оптимума. Человечество жаждет определить этот оптимум „точно”, обеспечить надежную „правильность” общественной траектории „раз навсегда”. Известную часть интеллектуальной верхушки общества идея сознательного построения „правильных” общественных отношений (с исключением из

них конкуренции с ее недостатками) соблазняла и соблазняет всегда. В широких общественных злых эта идея приобретает особую популярность в условиях какой-либо серьезной дестабилизации.

3. ДИКТАТУРА

Идея всеведущего, всеблагого и всемогущего Центра, берущего в свои руки все общественные ресурсы (материальные, духовные, правовые) и справедливо (?) распределяющего их между всеми членами общества, так же, если не более, популярна в сознании человечества, как и идея примитивной демократии.

Центр, будь то Собрание, или Правительство, или другая какая-нибудь Высокая Инстанция, призванная осуществлять волю избравшего ее общества, представляется сторонникам „прозрачной ясности” (Маркс) общественных отношений чем-то вроде гигантского мыслящего водонапорного бака, в который по восходящим каналам поступают сведения обо всех социальных ресурсах, материальных, духовных и правовых, и из которого по нисходящим каналам непрерывно исходят распоряжения о правильном (?) распределении этих ресурсов между всеми без исключения членами общества. При баке есть счетно-решающее устройство, которое знает все обо всем и обо всех в любой момент времени, и аппараты, обеспечивающие выполнение верховных решений.

Понятие „правильности” каждый из авторов централистских утопий определяет на свой лад.

Деспотические центры, стоящие над обществом и угнетающие его, возникали в истории неоднократно. Но суть централистских утопий, о которых мы

говорим, состоит в надежде придать подобному Центру одновременно три сверхчеловеческих качества: всеведение, всемогущество и всеблагость. Иными словами, если примитивно-демократическая утопия идеализирует гипотетический первобытно-общинный строй, то утопии централистские идеализируют абсолютизм, ставя на место деспота свой идеально разумный, всемогущий и гуманный Центр. Этот Центр, стоящий над обществом и регулирующий его бытие, должен каким-то образом отражать в своих критериях и решениях мерила и цели всех членов общества или, по крайней мере, его большинства. Идеальный централизм должен быть, таким образом, гибридом полнейшего абсолютизма и примитивной демократии, решая один за всех, но в интересах и по воле всех, а не произвольно или своекорыстно.

На практике же детищем от неизбежного в данном случае брака между примитивно-демократическими иллюзиями и реальным политико-экономическим централизмом оказался особый тип социальной организации — тоталитарная диктатура XX века с ее неведомым другим системам и временам полным государственным монополизмом в экономике, политике и идеологии.

Ни команды, директивы и коррективы Центра, ни сведения и отчеты, текущие снизу вверх, здесь не являются каналами прямой и обратной связи в кибернетическом смысле этих терминов: идущие по ним сигналы не обладают способностью автоматически воздействовать на поведение своих адресатов. Команды, идущие сверху вниз, сами по себе, *без дополнительного принуждения*, не вызывают у получателя реакций, предусмотренных Центром. Сведения, идущие снизу вверх, Центр учитывает и использует произвольно; может их вообще не

использовать; может даже предварительно инспирировать их содержание. В этом обмене информацией Центр и общество не равноправны: Центр имеет аппараты, институты и механизмы, принуждающие общество к исполнению верховных команд. Общество же инструментов воздействия на Центр и его аппараты фактически лишено.

Допустим, что информация о системе, получаемая Центром, достоверна, исчерпывающа и своевременна;

что Центр успевает с достаточной скоростью ее исследовать и превращать в команды и коррективы;

что все адресаты этих команд и коррективов ведут себя строго по предписанию.

В таком случае система будет следовать решениям Центра, как хорошо отлаженный механизм следует сигналам своего оператора.

Но и тогда *возникает вопрос*: на основании чьих и каких критериев Центр выбирает цели и способы достижения этих целей для всего общества и за каждого его члена?

Когда речь идет действительно о машине, то, разумеется, мы такого вопроса не ставим или ставим в чисто техническом плане: чем послушней машина, тем полнее и легче достигается цель оператора. Но мы признаем за каждой личностью и за группами личностей право иметь свои критерии добра, и зла, и целесообразности, отвергая лишь такие поступки и принципы поведения, которые посягают на узаконенные *обществом* права и возможности других лиц и групп и противоречат допускаемым *даным обществом* моральным нормам¹⁸.

Какими средствами в описанной нами социальной системе управляемые могут осуществлять свои собственные критерии? Как могут они контроли-

ровать выполнение Центром его обязательств перед ними, если такие обязательства и существуют?

Пытаясь ответить на эти вопросы, мы обнаруживаем только ряд однородных выводов: никакими, никак...

Центр диктатуры — это, по существу его социальной роли, машина, производящая тактические и стратегические решения, „выполняющая подходящий отбор” (У. Р. Эшби) за все общество. Такая машина, как и любая машина, может эффективно работать только на основании определенных данных и в определенном темпе, ибо она подвержена в этом смысле ряду ограничений. Выше мы произвольно предположили, что Центр способен своевременно извлечь из системы всю необходимую ему информацию и переработать ее в команды и коррективы. На деле это не так. Приведем некоторые примеры информационных ограничений, мешающих Центру выполнять его назначение.

Известный советский специалист по управлению пишет:

„Разрабатывая систему снабжения Киева молоком и молочными продуктами, украинские научно-исследовательские институты торговли и общественного питания и автодорожный институт подсчитали, что уже при восьми отправителях и восьми получателях груза количество возможных хозяйственных связей достигает... одного миллиарда! Никакие человеческие качества не могут обеспечить в таких случаях оптимальных решений. Требуются ЭВМ¹⁹, требуются автоматические системы управления, требуется „система” как таковая. Но создавать систему может только человек, и выбор окончательного решения из всех возможных вариантов будет всегда оставаться за ним, потому что для решения необходим критерий. Заложить этот критерий в ЭВМ можно, но выработать его должен человек”²⁰.

В системе централизованной экономики СССР (без учета внешнеторговых связей) — более миллиона предприятий и более 200 миллионов индивидуальных потребителей. При этом, согласно бесчисленным признаниям ведущих советских экономистов послесталинского периода, глобальный критерий оптимальности „еще” не выработан, а о знании Центром групповых и частных критериев просто не приходится и говорить. Заметим, что ни в 1848, ни в 1917 г. изобретатели и разработчики „самого рационального” и „единственно научного” способа производства, построенного в СССР, не собирались рассчитывать свой ясный (им) до „полной прозрачности” строй при помощи счетов, арифмометров и „знания четырех действий арифметики”, объединенного с „фабричным опытом” „передовых рабочих” (Ленин, „Государство и революция”).

А это уже из высказываний 1975 г.:

„... у меня вызывает недоумение широко распространенная среди биологов, экономистов и психологов позиция по отношению к математике, ...кратко формулируемая так: „Математики, помогите нам математизироваться к вящей пользе нашей и вашей науки!” Такой призыв о помощи есть свидетельство незрелости данной отрасли науки (экономики, биологии, психологии или социологии) ”.

Далее идут интересные размышления автора о зрелых науках, достигших равноправного естественного симбиоза с математикой, и делается вывод:

„Очевидно, биологам, экономистам, психологам тоже не следует ждать помощи со стороны, а почаще вспоминать девиз Бетховена: „Человек, помоги себе сам!” Конечно, это трудный путь и долгий, но другого пути нет. К тому же лучшие достижения современной биологии получены биологами-профессионалами, а не гостями из математики или из других областей; тот факт, что многие из этих биологов (Ф. Крик, Дж. Кендрю, М. Дельбрюк) были по образованию не биологами, а физиками, свидетельствует только о том,

что качество образования современного биолога пока уступает качеству образования физика или химика — иначе не может быть вследствие незрелости биологии. *Соответствующее положение в экономике, психологии и других науках еще хуже, чем в биологии, — здесь степень зрелости науки еще ниже, видимо, эпоха созревания этих наук начнется не скоро — не раньше XXI века*"²¹. (курсив наш. — Д. Ш.)

Чем руководствуется Центр абсолютной государственной монополии, командуя национализированной им экономикой на базе науки, созревание которой начнется „не скоро — не раньше XXI века"? Сам факт издания такой статьи в СССР — свидетельство неспособности этого Центра уследить за всем, что происходит в подвластной ему системе, ибо в подчеркнутых нами словах (а подобными косвенными признаниями пестрят неспециальные, на первый взгляд, статьи в изданиях негуманитарного профиля) полностью перечеркнута пресловутая „научность” марксизма. Надежды на ЭВМ здесь так же наивны, как и надежды на математику. Директор Экономико-математического института АН СССР акад. Н. Т. Федоренко пишет в популярной статье:

„Нужно только, конечно, оговориться, что никто не мыслит себе дела так, будто единая сеть вычислительных центров будет походить на такого электронного спрута, который своими щупальцами дойдет до каждого мельчайшего звена народного хозяйства, станет вмешиваться в любые действия, планировать ее до „мельчайшего винтика”. Попытка планировать наше народное хозяйство на основе одной, колоссальных размеров, экономико-математической модели заведомо обречена на провал. Специалисты нашего института однажды проделали любопытный расчет. Они вычислили количество операций, которые необходимо было бы произвести, чтобы составить такого рода детализированный оптимальный план только для двух тысяч объектов. Оказалось, что он потребовал бы от лучшей советской машины БЭСМ-6 — ни много, ни мало — тридцати тысяч лет непрерывной работы („Научно-техническая революция и управление”. — „Новый мир” № 10, 1970)”²².

Но ведь тем не менее глобальные экономические планы „спускаются” и доводятся до *всех* звеньев системы, *ибо другого экономического регулятора, помимо Центра, в системе нет*. При отсутствии свободного рынка, действующего в качестве регулятора, локальным объектам и их комплексам неоткуда брать информацию для того, чтобы планировать свою работу самостоятельно. При той всеобъемлющей централизации экономики, которую порождает ее абсолютная национализация, для оптимального решения даже частных задач необходимо знать о системе бесконечно многое, ибо в ее деятельности все жестко и однозначно взаимосвязано и обретаet какую-то логику только при взгляде с высоты птичьего полета (причем, эта логика — только логика Центра: при взгляде с других позиций все оказывается алогичным).

Советская экономическая наука ринулась к ЭВМ, как утопающий к спасательной шлюпке:

„Надо сказать, что в принципе, с точки зрения теории, вообще не существует таких социальных проблем, решение которых не могло бы быть найдено с помощью ЭВМ, при условии, что: 1) такое решение существует; 2) сама система формализована, т. е. исчерпывающим образом описана и машине сообщены все правила ее решения; 3) в машину вложена вся необходимая для решения этой проблемы информация”, — пишет там же Э. Араб-Оглы.

По-видимому, здесь подразумевается и введение в машину однозначных критериев, которым будет подчинено решение, и удовлетворительная скорость обработки информации, позволяющая решить задачу в терпимые сроки.

Каждое из этих условий уже само по себе исключает возможность с помощью ЭВМ построить удовлетворительную модель функционирования централизованной экономики, способную своевременно послужить ее планом.

Природа изобретательно создала системы, избавляющие ее от роковой необходимости навеки увязнуть в бесконечных расчетах, так как они самоуправляются автоматически. Человек же высокомерней природы и беспрестанно стремится создавать машины, зависящие во всех деталях их деятельности только от его воли.

Однако до сих пор во всех задачах, более сложных, чем чисто технические (и то до известных пределов), Разум оказывался бессильным изобрести решение более рациональное и более выгодное для человека и общества, чем естественные способы саморегуляции сложных динамичных систем. В условиях диктатуры правительство берет на себя роль самонадеянного разума, пытающегося директивно планировать каждую реакцию социального организма, роль странного демиурга, задумавшего математически рассчитывать траекторию каждой микрочастицы своей Вселенной. Стоит ли удивляться тому, что такое правительство — неразумный разум и беспомощно злобный „бог”? В его задаче ему мешают ограничения, для снятия коих недостаточно быть самонадеянным бюрократическим псевдобогом.

„Для человеческого мозга и для машины эти ограничения одни и те же, поскольку они присущи любой системе, поведение которой упорядочено и подчинено определенным законам. Система, которая могла бы эти ограничения обойти, обладала бы волшебными свойствами”, — говорит У. Р. Эшби²³.

Далее он определяет:

„Разумной следует считать систему, способную выполнять подходящий отбор. Эта способность есть критерий разумности. Иными словами, разумен тот, кто разумно действует... Таким образом, разумная машина может быть определена как система, которая использует информацию и обраба-

тывает ее так, чтобы достигнуть высокой степени подходящего отбора. Если эта машина должна показать в самом деле высокий уровень разумности, то она должна обработать большое количество информации и при этом с высокой эффективностью... Любая разумная система, — развивает свою мысль Эшби, — подчиняется следующему постулату: *любая система, выполняющая подходящий отбор (на ступень выше случайного), производит его на основе полученной информации* (курсив наш. — Д. Ш.).

Можно думать, что это совершенно очевидно, однако часто в дискуссиях о способностях живого мозга этот постулат скрыто или очень тонко отрицается. Представим себе, однако, что произошло бы, если бы этот постулат был действителен.

В таком случае... вычислительные машины давали бы необходимые результаты до того, как в эти машины была заложена информация... Ничего подобного науке неизвестно. Что может случиться в будущем, сказать нельзя, однако в середине XX века мы должны отбросить такую возможность. Сказав, что такие явления не могут произойти, мы скрыто предположили, что любые системы, живые или механические, подчиняются высказанному постулату и могут выполнять подходящий отбор только при получении к обработке соответствующего количества информации”²⁴.

Рассуждения Эшби, которых я здесь не цитирую, основаны на применении модели Шеннона. Это — модель ограниченная и не единственная. Однако я считаю возможным ее здесь применить.

Согласно теореме, управляющая инстанция должна для достижения своей цели в любой момент времени знать и успевать превращать в команды и коррективы всю ту относящуюся к ее задачам информацию, которая заключена во всех внешних и внутренних связях управляемой системы (а также во всех вероятных вариантах развития этих причинно-следственных связей).

В тех случаях, когда управляющая система лишена этой информации, она вынуждена действовать произвольно, то есть неразумно. Диктатура

попадает постоянно в подобное положение, будучи вынужденной произвольно решать массу вопросов, о которых она ничего не знает или знает мало. Происходит это из-за необъятности той информации, которой надо в данном случае располагать для производства решений сознательных, обоснованных.

Если руководствоваться критерием Эшби, диктатуру никак нельзя отнести, *с точки зрения ее подданных*, к числу разумных систем: „выполнять подходящий отбор”, руководствуясь ни их, ни даже своими критериями, она не может.

Но диктатуры существуют. И не только существуют, но и достигают высокого уровня стабильности, и не только стабильности, но и агрессивности. Они успешно распространяются и держат в подчинении все бóльшие контингенты людей. Как же достигают столь неразумные, *с точки зрения их подданных*, в экономическом смысле структуры такой высокой устойчивости и способности к самораспространению? Полагаю, что сохранение диктатурой ее стабильности облегчается для нее:

- 1) способностью этого принципа организации предельно упрощать подчиненную ему общественную структуру;

- 2) предельным ограничением количества тех задач, которые Центр диктатуры действительно считает необходимым решать;

- 3) тотальной ошибочностью поведения демократии по отношению к диктатуре²⁵.

С одной стороны, при всем кажущемся разнообразии тех задач, которые должно решать государство-диктатор, последнее подчиняет всю свою деятельность решению *только одной задачи* — сначала построению, а затем сохранению и защите того принципа общественной организации, который

и составляет самую его суть. Этот принцип — политико-экономико-идеологический монополизм его Центра. И ради его сохранения оно ни усилий, ни средств, ни изощренности не жалеет.

С другой стороны, диктатура предельно упрощает общество, которым она взялась управлять. Делается это гениально просто; общество как бы машинизируется: все индивидуальные и групповые критерии и цели, кроме самосохранительных критериев и целей Центра, игнорируются или подавляются. Люди и группы людей лишаются права иметь свои интересы и мерки, отличные от интересов и мерок Центра. Об узлах и деталях машины оператор обычно заботится ровно настолько, насколько это необходимо для сохранения их работоспособности и „послушания”. Центр поступает по отношению к своим подданным примерно так же: он, по возможности, старается дать им такой уровень жизни, при котором не возникает опасности больших возмущений. Для разных стран, слоев, народов, эпох эти уровни традиционно различны: в Европе, к примеру, выше, чем в Азии и Африке²⁶. Все остальные ресурсы и знания общества затрачиваются на сохранение Центром господствующего положения и своих привилегий. Централизация экономики, политический деспотизм, идеологическая и информационная монополия („монополия легальности” — Ленин), исключение какого бы то ни было духовного разнообразия из жизни общества, унификация культуры — все это в течение жизни двух-трех поколений создает правительство-мафию и народ-армию. Центр формирует в своих самосохранительных интересах структуру, нравственно, материально, интеллектуально, духовно обедненную, обладающую пониженными запросами, но стабильную и

боеспособную. Диктатура, таким образом, играет почти беспроблемно.

Почему „почти”?

Если бы Центр каким-то волшебным образом обрел достаточную для его целей информированность о подвластной ему системе и возможность в любой момент своевременно корректировать поведение всех ее составляющих, подданные диктатуры попали бы в ту абсолютную и безысходную зависимость от критериев Центра, которую так ярко рисуют антиутопии типа романа Орвелла „1984”.

В реальных же условиях Центр все-таки не всеведущ (а ведь он взял на себя *все* управление) и уже поэтому не всемогущ. Как сказано выше, он упрощает — по возможности — свои задачи, игнорируя и подавляя в системе всякое опасное целевое разнообразие. Но подавляемые им интересы, мерки и цели в редуцированном и искаженном виде в системе все-таки существуют, возникают и развиваются. Общество по-своему перераспределяет распределенные Центром права и обязанности, блага и труд. Оно саботирует приказы верховной власти, нарушает ее всесторонний монополизм, искажает траекторию, которую навязывает ему Центр, хотя и не может ничего ей последовательно противопоставить.

Кроме того, сверхмонополизм Центра не способствует ни научно-техническому прогрессу, ни, следовательно, росту народного благосостояния, а напротив, уродует и тормозит эти процессы.

Шумы, помехи, противоречия ощущает и накапливает при своем функционировании любая система. Но демократия, сохраняя свой главный организационный принцип — многостороннюю конкуренцию, — теоретически может, при достаточной эффективности протекающих в ней процессов „опе-

режающего отражения”, свои затруднения перманентно решать, порождая, разумеется, при их решении новые противоречия и трудности. Диктатура же, необратимо истощая и обедняя природу, общество и человека, самостоятельно свои экономические затруднения со временем решать перестает. Это — неотвратимо. Без экономической помощи извне или без своей эскалации в более богатые страны (которые тоже рано или поздно обеднеют под ее властью) диктатура перестает экономически удовлетворять своих подданных. И тогда они обретают готовность восстать против нее (вспомним 1921-й год в СССР, Польшу 1970 и 1980 годов, Венгрию 1956 г., Чехословакию 1968 г.)

Возникает ряд квазивыходов: например, возвести в принцип своего внутривластного поведения перманентный экстремальный террор. Но в экономическом смысле это не выход, а вхождение в более глубокий тупик, в конце которого — гибель для диктатуры. Она погибнет либо вместе со всем народом (Камбоджа), либо в восстании или перевороте, на грани чего не раз были и Советский Союз 1920-х гг., и Восточная Европа, усмиренная оккупантами.

Есть еще два квазивыхода: нарушить внешнюю изоляцию диктатуры от демократии или внести внутрь системы некоторое экономическое разнообразие. Но тогда появляется возрастающая угроза монополизму Центра, и диктатура опять ужесточается. Возникает замкнутый круг: рост централизма означает рост экономической нерациональности всей системы, — значит, и рост недовольства. В неспособности наладить удовлетворительно свою экономику, в боязни (невозможности — без ущерба для своего всевластия) раскрепостить науку, а значит, и технику — ахиллесова пята диктатуры. Но

фактор времени здесь не менее важен, чем в состязании мозга со злокачественным новообразованием: последнее может успеть разложить и мозг, если борьба с болезнью начнется слишком поздно.

„Живая система отличается от искусственных неживых систем тем, что каждая структурная единица в ней имеет свои „личные” задачи. Существование этих единиц не нуждается в специальном оправдании, в то время как в неживой конструкции такие единицы — это элементы, подчиненные замыслу всей конструкции.

Одна из важнейших „личных” целей живой системы — сохранение ее индивидуальности (совокупности задач). Поэтому всякая живая система всегда стремится повысить степень своей стабильности, создать для себя условия, когда воздействие на систему факторов, могущих ее разрушить, становится минимальным”²⁷.

Я думаю, что говоря о людях и обществе, можно отбросить кавычки, в которые взято слово „личные” в этом отрывке.

В условиях диктатуры свойство живого иметь собственные критерии и цели, отличные от критериев более широкой системы (или просто от чьих-то иных критериев), сохраняется, по замыслу Центра, только за ним. Все прочие ставятся в положение обезжизненных деталей и узлов машины, управляемых Центром.

Тем не менее, это все-таки, в отличие от шестеренок и рычагов, *живые* узлы. Они, независимо от своей воли, не могут не стремиться „создать для себя условия, когда воздействие на систему факторов, могущих ее разрушить, становится минимальным”. В данном случае „система” — это личность, группа или общество как совокупность групп и лиц, а не как машина, управляемая диктатурой.

Центр использует и это свойство всего живого: он ставит своих подданных в такие политико-

экономические обстоятельства, при которых всякое возмущение против политики Центра грозит человеку падением прочности его существования или гибелью. То же относится к слоям, группам и объединениям таковых.

При таких обстоятельствах возмущение против Центра для его подданных возможно только в том крайнем случае, если жизнь под его властью становится для них невыносимой, невозможной. Другие поводы к недовольству (отсутствие личной свободы, неэффективность труда и пр.) для большинства подданных диктатуры нейтрализованы их воспитанием в условиях информационного монополизма Центра, перевешиваются страхом потерять жизнь, благосостояние или попасть в тюрьму и т. д. И лишь для меньшинства подвластного диктатуре общества несвобода и отсутствие человеческих прав являются достаточным основанием для борьбы против могучего и безжалостного противника. Слава этим немногим, сражающимся за нас.

4. ДИКТАТУРА И КОНКУРЕНТНО-РЫНОЧНАЯ ДЕМОКРАТИЯ

Итак, если бы диктатура и демократия соревновались в задачах, выбранных авторами гуманистических сочинений (в способности материально и духовно удовлетворять своих подданных, в науке, в культурной жизни и пр.), не применяя друг против друга столетиями никаких силовых приемов, то выигрыш демократии в этом соревновании был бы бесспорен. Однако диктатура и демократия, будучи инструментами решения разных социальных задач (диктатура — инструмент насилия, демократия — инструмент удовлетворения потребительских

запросов общества), соревнуются обычно в плоскостях, навязанных диктатурой: в военной и пропагандистской (дезинформационной). А здесь у диктатуры больше возможностей, чем у демократии. Кроме того, диктатура проявляет истинную виртуозность в областях провокации и инфильтрации. Диктатура — бдительна и полна превентивной подозрительности, демократия — доверчива и беспечна. Утверждение, что диктатура не победит демократию потому, что последняя, являясь более гибкой и высокоорганизованной социальной структурой, обладает более высоким уровнем и потенциями научно-технического, экономического, культурного и т. п. развития, чем диктатура, равносильно утверждению, что автомобиль не раздавит скрипача, потому что ни он, автомобиль, ни его водитель не умеют так играть на скрипке, как этот скрипач. Действительно, не умеют, но если наедут, — раздавят, как раздавил бульдозер картины независимых художников на выставке в Беляево (Москва). Я уже ссылалась и на то, что благородные ткани и органы животного или человека функционально куда богаче и организованно куда сложнее, выше злокачественных новообразований, которые их поражают. Однако в прямом биохимическом столкновении злокачественное новообразование одолевает своих здоровых и благородных противников. Можно ли утешаться тем, что, убив организм, такой победитель неминуемо гибнет с ним вместе?

При банальном физическом ударе булыжник оказывается куда прочнее, чем кость, защищающая такое уникальное произведение природы, как человеческий мозг. Что же говорить о самом мозге, для физического столкновения с булыжником отнюдь не предназначенном?

Центр диктатуры размахивает подчиненным ему обществом, как дубиной, выстраивает его в послушную армию, сосредоточивает его ресурсы, где и когда хочет, сжимает общество „в один громающий кулак” и опускает его на головы своих высокоорганизованных противников.

Трудно добиться от беспечных детей демократии не только такого единства действий (хотя бы в угрожающих ситуациях), но даже понимания нашего с ними положения. А прекраснодушные социалисты-идеалисты предлагают и нам, и им отмахнуться от растущей угрозы, как от назойливой мухи. Более того: они старательно убеждают и демократию, и свидетелей из стран победившего социализма, что муха жужжит у нас в черепахах, а не над нами. А она — над нами, и головка у нее ядерная (кассетная).

Иные мыслители украшают тупую силу, готовую их проглотить, загадочным свойством некой неотвратимой исторической „правоты”. Между тем, живое живет не в меру своей „правоты” (в посюстороннем мире — во всяком случае), а в меру своей жизнеспособности. Диктатуры, ни с чьей волей ни вне, ни внутри себя, кроме воли своих „вождей”, не сверяясь, распространяются в силу высокого потенциала своей агрессивности, своей примитивности (цельности) и своей стабильности, а не в силу своей необходимости людям. Следует говорить не о „правоте” того или иного образа жизни, а о предпочтении нами того или иного способа существования, и из этого исходить в своих действиях.

Диктатура имеет перед демократией большие военные преимущества уже потому, что ее структура управления совпадает с основными организационными принципами, на которых строится всякая воюющая и регулярная армия. Тем не менее, как уже было сказано, диктатура неизбежно „стареет”,

если существует в *закрытых границах* достаточно долго. Ее беспомощность и эгоизм в решении задач народного потребления, ее корыстное фальсификаторство в решении научных задач (все, что в науке угрожает ее престижу и прочности, находится под запретом), ее объективная неспособность упорядочить столь сложную (даже при всех насильственных упрощениях) и динамичную систему, как общество, не могут не сказываться на положении дел внутри страны и не создавать постоянных возрастающих затруднений для ее Центра.

Сегодня всякая государственно нормализованная диктатура является (во всех направлениях) системой, *закрытой для нежелательной, по мнению ее Центра, информации или продукции, но открытой для желательной*. Она ввозит (или вывозит), впускает (или выпускает) то (или тех), что (или кого) считает для себя полезным ввезти (или вывезти), впустить (или выпустить). Приток энергии в избираемых Центром диктатуры видах и формах (деньги, технология, техника, материалы, специалисты, энергоресурсы, разведданные и т. д.), а также экспорт, засылка, выбрасывание, продажа удобными ей способами всего того, что ей нужно вывезти за свои пределы, регулируются самой диктатурой *по ее воле и потребности*.

Между тем, превращенная своим высокоразвитым окружением в систему *действительно закрытую* и открываемая лишь по воле и в интересах этого своего окружения, а значит — в интересах своих народов, диктатура неизбежно начала бы уступать внешним требованиям и требованиям внутренней оппозиции. Не „открываться” она уже не смогла бы: слишком стремительно нарастала бы энтропия внутри нее.

Однако проблема включения в сознание демокра-

тии хотя бы приближенного к истине образа диктатуры — это задача особой сложности, которую я здесь лишь попутно и бегло упоминаю. Ее постановка и тем более решение — вне возможностей одного публициста.

Нелепо было бы изображать современную конкурентно-рыночную демократию как „идеальную”, „гармоническую” систему.

Но лишь она одна из абстрагированных выше форм общественной организации представляется способной к эволюционному прогрессу и мирному самосовершенствованию в интересах лиц, групп, с различными критериями оптимальности, и общества в целом, а не только несменяемой правящей клики.

В этой работе нет попыток спекулятивно-умозрительного конструирования идеальной структуры общественных отношений: *невозможно* удачно придумать для целого мира симпатичную всему человечеству конструкцию. Да и не стоит пытаться: вряд ли когда-нибудь можно будет добиться гармонии всех личных и групповых интересов.

Исследуя наличные формы общественной организации, приходишь к выводу, что благом является уже одна возможность правовой борьбы за свои критерии пользы, добра и блага и сравнительно мирного разрешения противоречий, — возможность, сохранять которую трудно, а защищать от посягательств извне и изнутри и того труднее.

Внутренняя деструкция диктатур, в случае упорной борьбы с ними их собственной, отечественной, оппозиции и надежной внешней локализации их демократиями, будет, конечно, очень медленной и обратимой. Зато процесс военной эскалации дикта-

тур в мир демократии может произойти и быстро, и необратимо. Едва ли тех, кому дорога свобода, утешит безнадежность далекого будущего диктатуры, переварившей весь мир.

Давайте же изберем свое будущее сегодня.

Автор выражает глубокую благодарность д-ру В. Кагану (Иерусалим) за его ценную помощь в этой работе.

СССР — Израиль
1968 — 1980

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Те же проблемы рассмотрены нами в работе „Bureaucratic Utopia” („Crossroads” N 4, 1979, Jerusalem).

2. Журнал „Природа” №№ 6 и 7. М., 1969.

3. Духовных аспектов сознания и разногласий внутри этой проблемы я здесь не касаюсь.

4. Н. В и н е р. Кибернетика, или управление и связь в животном и машине. (Перевод с англ.). М., изд. „Советское радио”, 1968, с. 51.

5. Обычно равное процветание „социалистической” Швеции и „консервативной” Швейцарии приводится неспециалистами как довод в пользу „демократического социализма”. Однако о неблагоприятных тенденциях шведской или лейбористской английской экономики свидетельствует статистика, опубликованная в русских эмигрантских изданиях и постоянно публикуемая в европейской и американской прессе. Благополучие же и Швеции, и лейбористской (что сумеют выправить консерваторы, посмотрим) Англии сохраняется, к сожалению, только в стереотипном, расхожем о них представлении, а не в действительности.

6. Эшби показал, что адаптивно вести себя может и неживая, но достаточно сложная система.

7. Некоторые авторы относятся скептически к сохраненному здесь термину П. К. Анохина „опережающее отражение”, предпочитая появившийся позже термин „прогнозирование на основании накопленной информации”. Полагаю, что термин П. К. Анохина обусловлен цензурной необходимостью дать рассматриваемому явлению название в рамках марксистско-ленинской „теории отражения”. По существу же речь идет об „асознательном”, подсознательном или сознательном планировании (в кавычках и без кавычек, т. е. не имеющем отношения к сознанию или имеющем). Суть проблемы — в своевременной и целенаправленной организации своих действий и в возможности (способности) предусмотреть чужие действия и качества. Таким образом, „план” древнее не только социализма или капитализма, но и сознания, и даже инстинкта.

8. П. К. А н о х и н. Методологический анализ узловых проблем условного рефлекса. Сб. „Философские проблемы высшей нервной деятельности и психологии”. М., Изд-во АН СССР. 1963. В дальнейшем все ссылки — на эту работу П. К. Анохина.

9. Чаще всего это ощущение некоего „дискомфорта” (физического или психического) или боль.

10. То же в более общем виде показано и для неживых систем у Н. В и н е р а и У. Э ш б и.

11. Газета „Русская мысль” сообщила недавно, что группа математиков проанализировала с помощью ЭВМ несколько десятков случаев реакций советских инстанций (за несколько последних месяцев) на действия, с официальной точки зрения могущие быть квалифицированными как антигосударственные. Ответ машины гласил: „Намеренный алогизм поведения”. Если это так, если ответ не предопределен программистами, то у Кремля хорошие консультанты: алогические реакции осложняют противодействие мероприятиям власти со стороны антиправительственных элементов общества.

12. Н. В и н е р. Кибернетика, или управление..., сс. 231-232.

13. Э. А р а б - О г л ы. Кибернетика и моделирование социальных процессов. — В сб. „Кибернетика ожидаемая и неожиданная”. М., 1968. (Э. Араб-Оглы — советский философ и экономист.)

14. Наполеон I: „Управлять — значит предвидеть”.

15. Не может управляемый советский автор Э. Араб-О г л ы рассказать читателю и о том, что современные кризисы рыночной экономики вызываются в основном политическими факторами, генерируемыми его родным государством, а не чисто экономическими причинами.

16. Вспомним „запаянные в них реакции” в статье о взаимодействии биохимических систем, которую мы выше цитировали.

17. Журнал „Природа” №№ 6 и 7.

18. Я подчеркиваю: обществом — в лице конкурентно-демократического государства, а не тоталитарным государством, располагающим „монополией легальности”.

19. Электронные вычислительные машины.

20. В. И. Т е р е щ е н к о. „Ближе к крайностям — дальше от истины”. — „Литературная газета” № 33 от 12. 8. 1970.

21. С. Г. С м и р н о в. „Симбиоз зрелых наук”. — Журнал „Природа” № 6, 1975.

22. „Для того, чтобы управлять, нужно, как-никак, иметь точный план на некоторый, хоть сколько-нибудь приличный срок. Позвольте же вас спросить, как же может управлять человек, если он не только лишен возможности составить какой-нибудь план хотя бы на смехотворно короткий срок, ну, лет, скажем, в тысячу, но не может ручаться даже за свой собственный завтрашний день?” М. Булгаков. „Мастер и Маргарита”.

23. У. Э ш б и. Что такое разумная машина. (В дальнейшем — все ссылки на эту работу).

24. Там же.

25. Поскольку к третьей причине я обращаюсь особо, не буду сейчас обсуждать ее подробности. Замечу только, что безошибочность действий из сторон конфликта и ошибочность поведения (или отсутствие своевременных реакций) второй стороны — это ведь не одно и то же, хотя результаты могут быть одинаковыми. Если человека убивает опухоль, а он либо не знает об этом, либо знает, но решает не обращаться к врачу, либо обращается, но отказывается от еще способных помочь предписаний врача, либо уже и предписания врача бессильны помочь, — это ведь не означает, что мыслительные способности опухоли сильнее мыслительных способностей больного или врача. Опухоль, несомненно, в прямом физиологическом союзе, на каких-то известных только специалистам глубоких биохимических уровнях,

сильней здоровых клеток тканей и органов, в том числе — самых благородных. Но отнюдь не на уровне процессов мышления. И поэтому задача мышления состоит в том, чтобы своевременно диагностировать опухоль и от нее избавиться, перенеся состязание с ней на те уровни жизнедеятельности Человека („опережающее отражение“, мышление, наука, техника, технология), на которых опухоли не функционируют. Эта аналогия не является полной, как любая из аналогий, но в принципе она правомерна.

26. Мы говорим о нормализованной, устоявшейся диктатуре — вроде современной советской, а не о „взбесившейся“, наподобие камбоджийской. Сказанное не относится и к диктатуре, находящейся в экстремальных, но неизбежных стадиях типа гражданской войны, тотальной экспроприации, коллективизации, пиков самосохранительных репрессий и т. п.

27. См. уже цит. статью „Взаимодействие в биологических системах“. — Журнал „Природа“ №№ 6 и 7.

ТРИ КНИГИ

О. С. Г а к к е л ь. Мать Мария (1891 - 1945).
Paris: YMCA - Press, 1980.

Парадоксальна книжная судьба исследования протоиерея Сергея Гаккеля о русской монахини, матери Марии (в миру — Елизавете Пиленко, Кузминой-Караваевой и Скобцовой). Десять с лишним лет назад книга вышла по-английски. Вскоре появился немецкий перевод, сделанный женой немецкого писателя Генриха Белля — Аннемарией Белль. И вот в 1980 году дополненное издание книги о. Сергея Гаккеля о матери Марии выходит по-русски в издательстве ИМКА-Пресс. В предисловии к книге отец Сергей поясняет:

„У матери Марии было много неудач, как в личном, так и в церковном плане. Два ее замужества кончились разводом. Половину жизни она провела на чужбине, вдали от родины, которую она с такой преданностью любила и которая ее особенно притягивала в последние годы. Ее своеобразный монашеский путь — монашество в миру — не вызвал особой симпатии в эмиграции... Большая часть учреждений, основанных по ее инициативе (...) не пережили ее (...) многие намеренно замалчивали ее работу и отвергали ее идеалы... Но сила Божия в немощи совершается”.

Антоний, митрополит Сурожский, в своем „Слове о матери Марии”, предваряющем книгу протоиерея Гаккеля, заключает:

„Так прожила свой многострадальный и в каком-то смысле пустынный век мать Мария. Но мера ее истощения, кеносиса, превзошла меру многих — и меру нашего опыта, и меру нашего понимания. Она была среди нас вызовом, камнем преткновения: для одних — незыблемым основанием, для других — Судом Божиим. Она восприняла и в жизни показала „безумие Креста”, безумие Божественной любви...

Многие из нас, которые после многих лет начали прозревать, соблазнялись ее отказом от всякой условности... Она пошла путем подлинного юродства во Христе”.

Так современная русская православная Церковь на Западе начинает оценивать жизненный путь странной своей монахини, основавшей „Православное дело” в Париже и погибшей в фашистском концлагере Равенсбрюк, в категориях святости. Напомним здесь предсказание философа Николая Бердяева о том, что христианству в XX веке предстоит выработать новый тип святости: святости в миру. Напомним и о пути ректора Православного Богословского института в Париже протоиерея Сергея Булгакова, пути от социальной философии ко священству. Оба они были близкими друзьями матери Марии в Париже. Что же общего у матери Марии с той русской интеллигенцией, которая от начала этого века обратилась к религии и Церкви, и что в ней странно и для мира, и для Церкви?

Отец Сергей Гаккель пишет, что мысли о жертвенном служении занимали Лизу Пиленко с детства. Она почитала труд отца, бывшего директором Никитинского сада и Училища виноградарства в Ялте, и увлекалась „хождением в народ”. Будучи девочкой, она считала лучшим своим другом обер-прокурора Священного Синода Победоносцева и вышла в первый раз замуж за социал-демократа, большевика, который оказался, однако, „молодым эстетствующим юристом”. Она писала стихи, в которых Александр Блок ошибочно углядел лишь декадентские мотивы и отвечал ей стихами, которые подошли бы скорее к юношескому портрету другой „женщины русской революции” — Ларисы Рейснер. Но блоковская „такая красивая, но такая измученная” и „презирающая свою красоту” Лиза Пиленко, можно сказать, восполнила и эту пророчески неопределенную посылку поэта. В 1918 году Елизавета Юрьевна, по второму мужу Скобцова, была городским головой в Анапе, и перед ее решительностью в защите городских и гражданских ценностей пасовали и анархисты, и большевики.

Протестом против большевистского „народовластия” стала эмиграция будущей матери Марии, но здесь она тем более показала свою любовь к людям, как говорит митрополит Антоний, самым пропащим, обездоленным, погибающим, особенно если это были „свои”, русские. Но фашистами она была пленена за нежелание отказаться от помощи и русским, и евреям, и французам, и немцам в оккупиро-

ванной Франции. В последние годы жизни мать Мария считала более полезным возвращение в Советскую Россию, но не потому, что обольстилась, как многие, пропагандистским социальным раем, а потому, что считала, что там — Голгофа. Основательница нескольких храмов и института социальной помощи — „Православное дело“, монахиня Мария вызывала протест у многих православных мирян, монахов и иерархов тем, что, занятая делами мирскими, она мало ходила в церковь, была постоянным центром социальных и церковных дискуссий, даже курила.

Биограф матери Марии — отец Сергей Гаккель — и сегодня несколько недоумевает, почему же так архаически устремляется она в монашество, когда были и другие пути православно послужить людям. Он объясняет второй развод Елизаветы Скобцовой, может быть, метафизическим восстанием матери против смерти дочери Анастасии. Но у нее оставались тогда еще двое детей, когда в марте 1932 года, перед пострижением в парижском храме Сергиевского подворья Елизавета, рожденная Пиленко, писала:

В рубаху белую одета...
О, внутренний мой человек.
Сейчас еще Елизавета,
А завтра буду — имярек.

Как похожи и непохожи эти духовно-предельные строки на те безыскусные стихи о человечестве, которое „живо одною круговою порукой добра“, процитированные Мариной Цветаевой в статье „Искусство при свете совести“. Так же похожи и непохожи на мать Марию все свидетельства современников. Последнее из них: мать Мария добровольно пошла на смерть, чтобы спасти жизнь другой узницы Равенсбрюка, когда в лагере прислушивались уже к пушкам советской армии. Но недаром Церковь ищет, как сказать о святости матери Марии. Не только сном объясняет ее явление один из друзей монахини, которому она через двадцать лет после смерти сказала: „Вот видите: я жива“. Много раньше, как поясняет биограф матери Марии — отец Сергей Гаккель, она писала:

„Мы верим. И вот по силе этой нашей веры мы чувствуем, как смерть перестает быть смертью, как она становится рождением в вечность, как муки земные становятся муками нашего рождения. Иногда мы так чувствуем при-

ближение к нам часа этого благодатного рождения (...), что и мукам готовы сказать: „Усильтесь, испепелите меня (...), потому что духовное тело хочет восстать (...), потому что мне в этой поднебесной утробе уже тесно, потому что я хочу домой, к Отцу, — и все готова отдать, и любыми муками заплатить за этот Отчий дом моей вечности”.

Марк Поповский. Жизнь и житие Войно-Ясенецкого, архиепископа и хирурга.
Paris: YMCA-Press, 1979.

Земную жизнь мать Мария прошла между 1891-1945 годами. Герой книги Марка Поповского „Жизнь и житие Войно-Ясенецкого, архиепископа и хирурга” родился в 1877 году, умер в 1961. Поповский старается следовать желанию самого Войно-Ясенецкого, чтобы биограф не пошел по легкому пути, не попытался бы разделить в нем хирурга и лицо духовного сана. Ибо труден был путь выдающегося архиепископа-хирурга, отстаивавшего духовное одеяние и икону Божьей Матери в операционной и утверждавшего свое право на пастырство в подвалах госбезопасности и в ссыльных мытарствах по советской Сибири. Но необходимо легко сочетался хирург и духовный пастырь внутри и в облике самого Валентина Феликсовича Войно-Ясенецкого, рукоположенного в епископы под именем Луки, в напоминание об евангелисте, бывшем и врачом и художником.

Легкости этой не хватает Поповскому, поэтому его книга становится тщательным исследованием историка на тему о времени, в котором некоторые избранные русские судьбы и характеры стирают грань между жизнью и житием. То, что кажется ему легковесным в народно-„старушечьем” мифотворчестве на тему жизни архиепископа Луки, Поповский пробует раскрыть в историческом обобщении. Он поминает о древности русского княжеского рода Войно-Ясенецких, возвеличившегося при Польском дворе, но с XVII века начавшего мельчать и бледнеть в нынешней Белоруссии и Западной Украине. Он рассказывает о своеобразной „исторической тени”, в которой Валентин Феликсович находился и, очевидно, формировался как историческая личность до 1919 года, когда Войно-Ясенецкому исполнилось 42 года и когда, как пишет Поповский: „Поступки, высказывания и труды его начали оказывать влияние на

поступки и высказывания многих других, даже лично его и не знавших людей. И влияние это продолжается донине”.

Много временных парадоксов раскрывается в судьбе архиепископа Луки и далее. В 1934 году впервые появились в печати „Очерки гнойной хирургии”, ставшие настольной книгой хирургов и до сих пор не утратившие научно-практического значения. Значительная часть материала для „Очерков” была собрана и обработана Войно-Ясенецким еще до революции, в бытность неизвестным „мужицким” земским врачом. В 1944 году за второе, расширенное издание „Очерков” и труда о „Поздних резекциях при инфильтрованных огнестрельных ранениях суставов” хирургу была присуждена Сталинская премия первой степени. Это было время, когда Сталин решил воспользоваться внутренним и внешним авторитетом православной Церкви для стабилизации положения в стране, военные жертвы которой превышали меру народного терпения, и для договоров с союзниками.

Но все это время — в земских больницах, на должности главного врача и хирурга городской больницы и с кафедры университета в Ташкенте, в ссылках на Енисей, в Туруханский край и в Архангельске на положении ссыльного главного хирурга-консультанта Красноярских военных госпиталей, а после — будучи владыкой Тамбовским и Симферопольским, — Войно-Ясенецкий лечил людей и воспитывал хирургов. Исцеления его, основанные на безошибочном знании анатомии человека, художественной точности его скальпеля и вере в божественное назначение его миссии, казались чудесными. Христианство его (а с 1928 года он — в сане епископа) сопровождалось бунтом против всех нарождающихся в советскую эру церковных извращений и гонений на Церковь. Став епископом, когда самый факт рукоположения был вызовом советской политике, Лука запретил своим прихожанам какое-либо общение с так называемой живой, или обновленческой, церковью. В Сибири он самовольно мог отслужить литургию в храме, закрытом местными властями. В Симферополе, уже в пятидесятых годах, полуслепой владыка ведет непреклонную борьбу с политикой мирских „церковных двадцаток” и со священниками скорого сталинского набора, ежели они не достойны священства. Как должное принимал Лука и гонения, воздвигнутые на него властями, и народные почести, воздаваемые епископскому его сану. И единственным неясным

пятном в биографии архиепископа Луки для Поповского остается то, что именно в годы, когда, казалось, ничто не грозило ни ему лично, ни православной Церкви в России, иерарх принял участие в прославлении сталинской политики, рассчитанном на заграницу.

Многие примеры приводит Поповский в объяснение феномена Войно-Ясенецкого. Когда он замечает, что студентом Киевского университета будущий хирург не принимает никакого участия в политических беспорядках, Поповский сравнивает своего героя с принципиально беспартийным философом Николаем Бердяевым. Когда он пишет о рукоположении Луки в епископы, Поповский приводит в пример принцип „делать то, что должно, сейчас” в соответствии с моральным призванием, как это понималось Львом Толстым и Короленко. Когда он цитирует сибирские письма и воспоминания епископа, Поповский поражается созвучием стиля жизни православного иерарха с житием мятежного раскольникового протопопа Аввакума. Когда он сравнивает отношение Луки к Сталину с церковной политикой патриархов Сергия и Алексия, Поповский говорит об абсолютной цельности и политической наивности своего героя. Когда он изумляется научному и вместе с тем судьбоносному прагматизму ученого-архиепископа, Поповский вспоминает о Павлове, Пирогове, Филатове, Вернадском и многих других выдающихся русских ученых в советское время, не видевших противоречия между наукой и религией и традиционно веривших в Бога.

Но поистине поражает воображение рассказ самого профессора Войно-Ясенецкого, постригшегося в монахи, когда умерла его красавица-жена, не спасенная его чудодейственным искусством хирурга. И таинственным образом убеждают в том, что будущий архиепископ Лука непосредственно слышал глас Божий, Его собственные слова:

„Аня умерла 38-ми лет.

Две ночи я сам читал над гробом Псалтирь, стоя у ног покойной в полном одиночестве.

Часа в три второй ночи я читал 112-й псалом, начало которого поется при встрече архиерея в храме, и последние слова псалма поразили меня, потрясли меня, ибо я с совершенной ясностью и несомненностью воспринял их, как слова Самого Бога, обращенные ко мне:

„И неплодную вселяет в дом матерью, радующуюся о детях”*

Так в 1919 году хирургу Войно-Ясенецкому из архиерейского псалма открывается решение взять в дом женщину, которая позаботилась бы о детях. А в мае 1923 года в глухой Пенджикете преосвященные Даниил и Василий, с благословения владыки Андрея Ухтомского, встречают нового епископа архиерейским приветствием „Тон деспотин” на тернистом и светлом церковном его пути. И с тем же вниманием к Слову Божьему выдающийся хирург Войно-Ясенецкий исследует тройственный состав человека на основании священных текстов и современных достижений науки в трактате „О теле, душе и духе”, явившемся одним из первых произведений церковного Самиздата в Советской России.

В. Н. Т р о с т н и к о в. Мысли перед рассветом.
Paris: YMCA-Press, 1980.

В свете судеб матери Марии и архиепископа Луки (Войно-Ясенецкого), в которых воплотилась странная в XX веке связь между социальным делом и наукой, с одной стороны, и таким архаическим институтом, как Церковь, — с другой, интересно услышать, что же говорят и думают современные ученые об отношениях науки, религии и познающего социума. Об этом рассказывает книга Виктора Николаевича Тростникова „Мысли перед рассветом”, изданная „ИМКА-Пресс” в 1980 году.

Тростников — математик, специалист по математической логике, преподающий на кафедре высшей математики в Институте инженерного транспорта в Москве и издавший в СССР около двадцати трудов. В книге „Мысли перед рассветом” Тростников говорит о своем опыте приятия усредненной философии и постепенно нараставшего недоверия к выводам из научного материала, которые делаются научной публицистикой. Тростников не говорит о себе ни как о человеке церковном, ни как об избраннике с сильным ощущением Бога от природы. Его путь — путь рассудочной аргументации, отрицающей ложь, сложившуюся в научной идеологии еще на заре развития современной науки.

* См. также: „Надежда. Христианское Чтение”. Выпуск 3. Составитель Зоя Крахмальникова. „Посев”, 1979. Архиепископ Лука. Мемуары. С. 83. — Ред.

Характерен в этом смысле пример Френсиса Бэкона, именем которого названа научная революция, начавшаяся в конце XVI — начале XVII веков и который не только не был наблюдателем законов природы, но был противником большей части научных открытий своего времени. Тростников перечисляет:

„Действительно... он отрицал теорию Коперника, не выдвинув против нее ни одного веского аргумента, не читал Кеплера, не знал о работах великого анатома Везалия, не осознал значения открытия Гарвеем кровообращения, хотя Гарвей был его личным врачом... Его знаменитый принцип индукции логически безграмотен и не пригоден к употреблению, ибо без дедукции и гипотезы не может быть продвижения вперед в теории”.

Как это напоминает ситуацию, когда с вершин „самого научного мировоззрения” в XX веке преследовалась насмерть современная физика и биология, филология и наука о Церкви. Тростников показывает, что со времен Макиавелли, Бэкона, Гоббса и утопических социалистов, не бывших учеными в современном смысле слова, до современных руководителей науки, заявляющих, подобно Ленину, что ученым „нельзя верить ни в едином слове”, — когда начинается обсуждение мировоззренческих аспектов науки, нет идеологической разницы. Их идеологическая гипотеза, опередившая и определившая развитие науки, покоится на трех китах, существование которых не только не доказано на протяжении трех веков научной революции, но и опровергнуто современными предельными наблюдениями над природой Вселенной, человека и общества.

Три кита этой идеологии вырисовываются в предположениях, что:

1. Мир — огромная детерминированная машина;
2. Главной задачей познания является открытие законов, управляющих движением этой машины;
3. Конечной целью исторического процесса является покорение природы разгадавшим ее законы человеком.

Тростников показывает, что под впечатлением этой идеологии стремились исключить Бога из наблюдаемой картины жизни такие выдающиеся ученые, как Декарт и Лейбниц. На гребне этой идеологии возникали теории, вроде дарвиновской, марксистской, фрейдистской, опровергнутые исследованиями в биологии, социологии, психологии. Под давлением этой идеологии ученые, исповедующие атеисти-

ческий позитивизм, сами отказываются от осознания творческого начала, действие которого они фиксируют на пределе наблюдаемых в этом мире явлений.

Предел наблюдения в царице наук — физике, — остановившейся на том, что наблюдаемая частица есть в то же время принципиально ненаблюдаемая волна, Тростников характеризует так:

„В принципе, можно говорить только о единой волновой функции мира... Чтобы извлечь из этой функции чувственные объекты, которые только и могут интересовать исследователя природы, нужен внешний по отношению ко Вселенной наблюдатель”.

Парадоксально, но на признание действенности Вселенского Наблюдателя в мире явлений не соглашаются в рамках науки даже ученые, как говорит Тростников, традиционно верующие в Творца. Тростников дает и социальный разрез среднего сознания в сословии людей, занимающихся наукой как делом престижным. Он говорит, что престиж их в обществе определяется атеистической идеологией и разработкой подчас заведомо устаревших гипотез из соображений „диссертабельности”. Но игра новыми, так называемыми сумасшедшими гипотезами видится Тростникову воплощением все той же рутины научно-идеологического мышления в социуме.

Тростников говорит, что надежды на „безумные” объяснения необъяснимого так же рациональны и путаются в элитарно-бессмысленной терминологии, как современная структур-семантическая лингвистика и социология систем, возникшие из увлечения теорией алгоритма и кибернетикой, не подошедшей даже близко к пределу, на котором возникает живая жизнь. Близко к этому пределу, по мнению Тростникова, находится современная биология. Но тайна жизни, наблюдаемая в генетических открытиях века, останется, по мнению ученого, за пределами биологической науки, как она осталась за пределами науки физической.

Наибольшие надежды в смысле непосредственного опытного чувствования непостижимого Тростников возлагает на будущую филологию, которая откажется от формального подхода к древнему мифу, „сказке”, писаниям святых отцов Церкви и описаниям научных интуиций, вроде тех, какими руководствовался в своих открытиях основоположник современной физики и математики Исаак Ньютон.

Ньютон, отвечавший Галилею, что просто он „много лет знал” о законах движения небесных тел, недаром говорил о „бестелесном существе, которое в бесконечном пространстве, как бы в самом чувствовали жизни, видит все вещи” через нас и животных, и посредством, в частности, которого распинается и страдает Тот, Кого ученые теперь называют „Волновая функция Мира”.

Интуиции Ньютона о единстве мировой жизни не пользуются у современных ученых популярностью, как и его исследования о природе Откровения, данного в Священном Писании. Но, как заключает Тростников, и свидетельства Ньютона о познании истины, и свидетельства Моцарта о явлении столь математически сложной в нотной записи целой симфонии сразу и целиком, не противоречат ни свидетельствам древних о том, что „в начале было Слово”, ни новейшим наблюдениям за Вселенной, взрывающейся, иначе и не скажешь, как из Ничто. А теории, кажущиеся вполне научными и дающие практические результаты, оказываются лишь частными алгоритмами, в которых просчитывается мертвая материя до того предела, где начинается ее жизнь. В ощущении этого предела и состоит, по Тростникову, задание современной науки, обнаруживающей, как говорит Церковь, неисповедимость путей Господних.

Поэтому Тростников и сосредоточивает острие своей научной мысли не на опровержении научных теорий, с их ограниченной приложимостью к жизни Вселенной, человека и общества, но на критике псевдонаучной идеологии, поработившей в современном социуме и человека, и науку с ее откровениями о живой жизни. Живая жизнь в самих научных теориях восстает против автоматического, алгоритмического, самодостаточного представления о человеке, творщем свое сомнительное светлое будущее, исходя из мертвой идеологии.

И. Бурихин

Дорогие читатели!

Стремясь облегчить проникновение нашего журнала в Россию, а также ознакомить вас с лучшими из произведений, напечатанными в нем ранее, редакция журнала «Грани» выпускает 2 раза в год карманные сборники избранного текста из 7—10 номеров «Граней».

Эти сборники, размером 9,5 на 14,5 см, отпечатанные на тонкой бумаге и содержащие в среднем 512 страниц, легко укладываются в карман или женскую сумочку. Каждому путешественнику — советскому ли за рубежом, иностранному ли в России — ничего не стоит взять их с собой.

Мы обращаемся к нашим читателям в России:

- передавайте свой экземпляр дальше, увеличивая тем число наших читателей;*
- просите своих друзей, едущих за границу, привезти вам наши сборники;*
- просите своих иностранных знакомых привозить вам их, вместо подарка!*

Мы обращаемся к нашим читателям за рубежом:

- используйте каждую возможность (встречу с соотечественниками, свои или друзей поездки в нашу страну и т. п.), чтобы передать в Россию наши сборники!*

Эти сборники сделаны и предназначены для России! Каждый желающий их иметь ДЛЯ РОССИИ — может получить нужное количество экземпляров, обратившись по адресу:

**А. Kandauirow c/o «Possev-Verlag»
Flurscheideweg 15, D-6230 Frankfurt/Main 80**

К настоящему времени выпущены следующие сборники «Граней»:

- ☐ Сборник № 1 — избранное из №№ 87/88-94
- ☐ Сборник № 2 — избранное из №№ 78-86
- ☐ Сборник № 3 — избранное из №№ 71-77
- ☐ Сборник № 4 — избранное из №№ 69-70
- ☐ Сборник № 5 — избранное из №№ 53-68

Редакция

Г Р А Н И

**ЖУРНАЛ ЛИТЕРАТУРЫ, ИСКУССТВА, НАУКИ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ**

Стоимость подписки на 4 номера:

в издательстве — 48 н.м.

через магазины — 60 н.м.

ПОСЕВ

**ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ**

и

ВОЛЬНОЕ СЛОВО

САМИЗДАТ · ИЗБРАННОЕ

В издательстве: «Посев» (12)

и «Вольное слово» (4) — 75 н.м.

«Посев» (12) — 60 н.м.

Через магазины: «Посев» (12)

и «Вольное слово» (4) — 90 н.м.

«Посев» (12) — 72 н.м.

Доплата за воздушную доставку:

«Посев» и «Вольное слово» зона I — 24 н.м.

зона II — 36 н.м.

«Посев» зона I — 20 н.м.;

зона II — 30 н.м.

I зона — Северная Америка и Ближний Восток

II зона — Южная Америка и Дальний Восток

СТОЙМОСТЬ В РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖЕ:

«ГРАНИ» — 15 н.м., «ПОСЕВ» — 6 н.м.

«Вольное слово» — 6 н.м.

В США и Канаде, при теперешнем курсе доллара
около двух марок, следует цены, для определения их
в местной валюте, делить на два

Подписную плату следует посылать:
почтовым переводом или чеком (в письме) по адресу

POSSEV-VERLAG

D-6230 Frankfurt/Main 80, Flurscheideweg 15

или же банковским переводом на

Konto 2 412 755, Dresdner Bank, Frankfurt/Main

или на почтовый счет

Postscheckkonto 334 61-608, Frankfurt/Main.